

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ:

В. Н. Бараков
В. Г. Бондаренко
В. В. Гончарова
В. Г. Захарченко
Е. А. Золотова
Н. А. Ивеншев
В. В. Касьянов
Ю. В. Козлов
В. И. Лихоносов
Ю. М. Лощиц
Ю. В. Лучинский
С. Н. Макарова
З. Прилепин
Н. Г. Пугачёва
Л. А. Сычёва
А. В. Татарinov
Е. В. Хомутов
С. А. Шаргунов

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Юрий Михайлович Павлов

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Н. И. Крижановский

РЕДАКТОР ОТДЕЛА

В. А. Бельтюкова

ДИЗАЙН

И КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА

Е. А. Быковченко

КОРРЕКТОР

М. В. Юрченко

РОДНАЯ КУБАНЬ

Литературно-исторический журнал
№1 (90) 2021 г.

Адрес редакции:
350000, г. Краснодар, ул. Пашковская, 2.
Тел./факс 259-60-27; e-mail: r-kuban@inbox.ru
Подписной индекс: 31899.

УЧРЕДИТЕЛИ: администрация Краснодарского
края, ООО «Газетно-информационный комплекс
«Кубанские новости».

ИЗДАТЕЛЬ: ООО «Газетно-информационный
комплекс «Кубанские новости».
350000, г. Краснодар, ул. Пашковская, 2.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением
автора публикации.

Заказ № 212

Тираж номера 1000 экз.

Свободная цена.

Подписано в печать __.__.2021 г. Формат 84x106/16.

Бумага офсетная. Усл. печ. л. 15, 12.

Отпечатано АО «Издательство «Советская Кубань»,
350000, г. Краснодар, ул. Раппельтская, 106

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Южному
федеральному округу ПИ № ТУ23-01250 от 29 января
2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

ВЛАДИМИР ВЕЩУНОВ

НЕМТЫРЬ 6

СЕЛЕДЦОВ ОЛЕГ

КУРОРТНЫЙ НЕРОМАН 28

МИХАИЛ СМИРНОВ

НЕПРИКАЯННЫЙ 32

ПОЭЗИЯ

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

«Я ЗОВУ В СОБЕСЕДНИКИ ВРЕМЯ...» 52

НИКОЛАЙ ЗИНОВЬЕВ

БЕССРОЧНАЯ ВЕСНА 58

ВИКТОР БОГДАНОВ

«ПОКА ХОТЬ ЧЕЙ-ТО СВЕТИТ ВЗГЛЯД...» 62

НА СТЫКЕ ЖАНРОВ

ГУРИЙ НЕМЧЕНКО

КУБАНСКИЙ ВЕНОК ТЁТЕ НАТАШЕ СЕРЕБРЯКОВОЙ 68

НА ПЕРЕКРЁСТКАХ ИСТОРИИ

ИГОРЬ СИРИЦА

ВСЯ ПРАВДА О ЕКАТЕРИНОДАРСКОМ СЫЩИКЕ А.П. ПРИШЕЛЬЦЕВЕ 80

ГОСТЬ НОМЕРА

«МЕНЯ ВДОХНОВЛЯЕТ ЖИЗНЬ...»

Интервью Валерии Бельтюковой с Натальей Возжаевой..... 96

«ВЕЛЕНЬЮ БОЖИЮ, О МУЗА, БУДЬ ПОСЛУШНА...»

Беседа Олега Шульги с Анатолием Байбородиным 102

КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

ВИКТОР БАРАКОВ

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ: СИЯНИЕ ДУХА 110

ОЛЕГ МОРОЗ

НУЖНЫЙ ПОЭТ: ПУТЬ ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА К СИМВОЛУ 118

ЮРИЙ ПАВЛОВ

ДВЕ РЕДАКЦИИ «ПАСТУХА И ПАСТУШКИ»

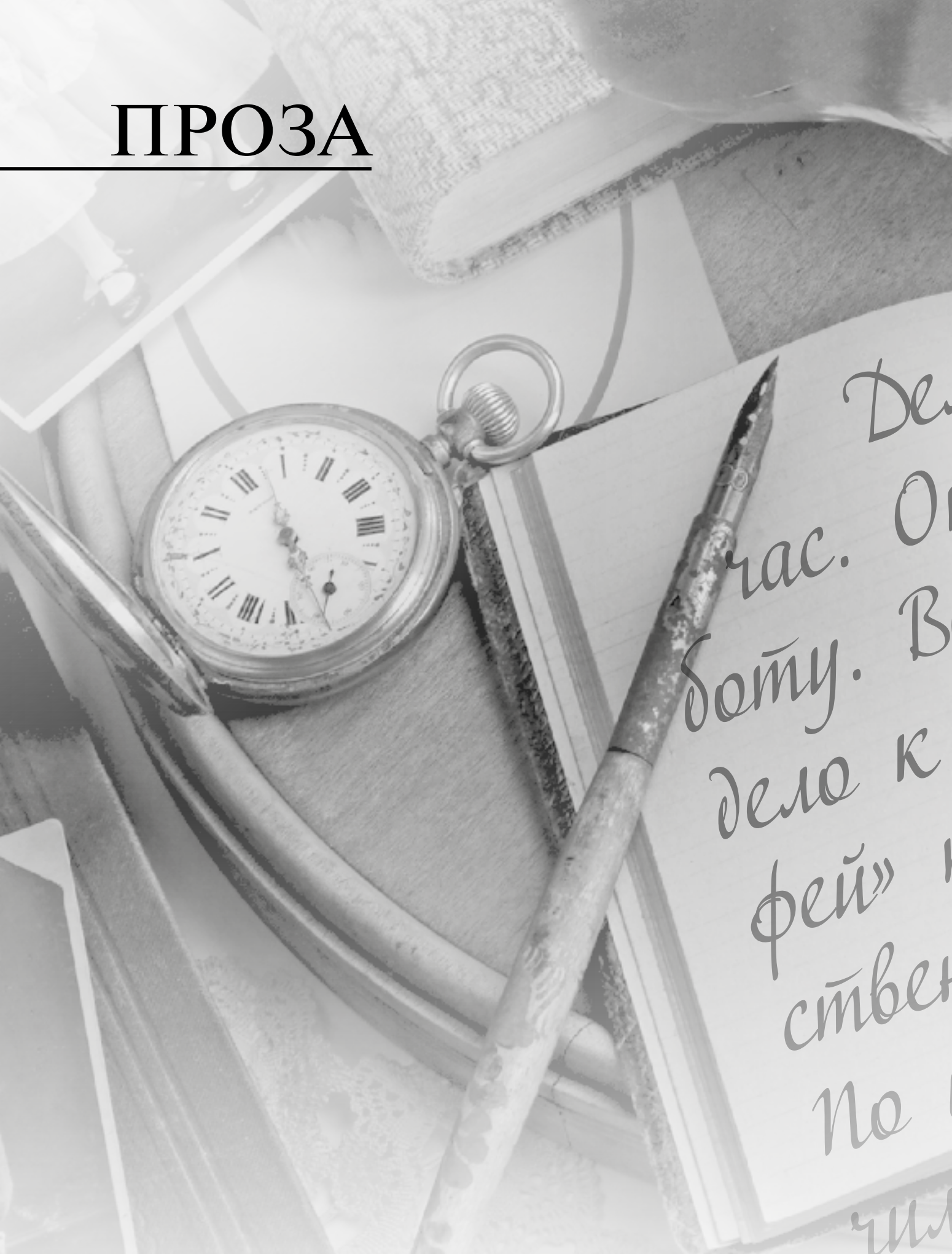
КАК ПУТЬ К ПОНИМАНИЮ «ПОЗДНЕГО» АСТАФЬЕВА 128

ЭЛИНА ОПЛЕТАЕВА

К.СЕРЕБРЕННИКОВ + К.БОГОМОЛОВ =

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 140

ПРОЗА



De
час. О
боту. В
дело к
фей»
стве
Но
чи

му — время, потехе —
отправилась бригада на ра-
бота привёл Немтыря на
злачному месту. Кафе «Р
почитал местный художе-
ный люд невысокого полёт
их настоянию кафешка по
название во имя героя V
войны Рифея, воспе



ВЛАДИМИР ВЕЩУНОВ

Родился в 1945 году в Таджикистане в рассказаченной семье. Окончил художественное училище и педагогический институт. Работал дизайнером, воспитателем детского дома, учителем, редактором книжного издательства.

Автор книг повестей и рассказов.

Член Союза писателей России.

Живёт в Нижнем Новгороде.

НЕМТЫРЬ

Зелёно-бурый колтун резухи, полыни, лебеды и прочего вероломного бродяжьи погрёб под собой полуразвалившийся дерновый хлев. В этом чертополошье углядел старик с обветшалого крыльца любящую парочку чечевиц. Серенькая чечевичка-наседка открыла клюв, капризно затрепетала крылышками: «Чу-чу, есть хочу, вить-вить!» Тотчас объявился нарядный, розовенький её Витёк в малиновом «берете»: «Вить-вить, вить-вить!» — успокоил он жёнушку, в поцелуе исторгнул ей пищу. И стал рассказывать: «Чу-чу, вить-вить, видел!..»

Жёлтогорлая овсянка с любопытством наострила хохолок и, включившись в рассказ, зажурчала.

Говор речных струй слышался в птичьем пении...

Вернулся на родину, а речка высохла. Высохла и деревня Ветка. А четверть века тому раскидистым древом шумела в дюжину улиц. Заглохли все, кроме большака. Да и на тот, рабочий когда-то, вскарабкалась густая гусиная трава. А с обочин наступательно двинулись орды одуванов. Помягчел покорно большак, осунулся, зарастает в безлюдье. Так сузилась и жизненная дорога старика. Вон ведь как всё ладно у пичуг устроено: любовь да забота. А у него супруга начальство своё выказала — уволила по немощи старческой. Якобы перетрутился на работе, на покой пора. Да и то верно, нелегка рабочая доля агрометеоролога. Почитаемая должность, прямо-таки заслуженное звание. Но шибко большая ответственность на плечах. Бок о бок трудились муж и жена — подчинённый и начальница агрометеостанции. Рядком да ладком. Но огрехи стала примечать в его работе. Устраняла их. Изредка зять отзывался на помощь. Сама помогала как могла на первых порах. Потом сжалась над ним — и над собой. Уволила. Начальство!..

В сонном воздухе веяли тонкие запахи цветений. Гусеницами свернулись на парной земле ольховые серёжки. И вязы в щедрости великой осыпали счастливый мир звонкой копеечной мелочью семени. В юной зелени мягкой лиственничной хвои праздничными свечками встали шишечки — салатненькие, розоватые. В золотистой дымке прозрачно-шекочущей пыльцы

всего цвета Божьего клубились изумрудные кущи-облака на околице.

Чёрная в ослепительно-высоком небе вопленица-орлица ломаным крестом долго мостила на торчащий перст грозовой ели. Завидев человека, снялась, тоскующая, и взреяла над степью, точно охраняя её.

Заспанная, рыжеватая, с пестринами совка-сплюшка недовольно вылезла из дупла. По-кошачьи воинственно подняла голую в щетинках лапку, щёлкнула клювом: «Уть-то-та! Уть-то-та!..» Устрашающе выкатила и без того лупатые глазища. И ну пыжиться, по-борцовски раскачиваться, хлопать мертвецкими веками. Встопорщила на голове пучки перьев — торчат, точно чёртовы рожки. Нагнала страху: убирайся, человек, подобру-поздорову, не то я тебе!..

Душераздирающий крик поезда с треском, как холстину, разорвал пространство. Жестокая тоска тиска ми сдавила сердце. Пронзительный, протяжный вой скорого подхватил жуткий вой степных волков.

Ни разу не убоился старик этой леденящей жути. И словно на какой-то всеильный зов шёл и шёл всякий вечер на полустанок. И сидел в углу выщербленного павильона. И ветры пронесившихся поездов навевали думы...

«Дуют ветры в феврале, и позёмка вьётся...» Так уж водится в здешних широтах: двадцатые числа февраля обязательно «потчуют» свирепым мордотыком. И непременно каждый год в незабываемый срок 20 февраля Иван Степанович Меркулов отправлялся в своё наблюдательное поле. На санки водружал корыто с лопатой и топором, нахлобучивал на голову капюшон аляски и на лыжах утюжил пять километров в сногшибательном снежном пламени. Из мерзлоты на разных участках вырубал монолиты — четыре кубика тридцать на тридцать толщиной на штык лопаты. И тащился с ними в метельной свистопляске на агрометпост. Там почву с озимыми оттаивали и определяли фазу их развития.

Последнее хождение наблюдателя-метеоролога Меркулова в поле едва не закончилось «ямщицким» сном. Подвернул ногу — и хоть криком кричи: буран

белым медведем навалился... Уже манящие огни в сладостной дремоте в иную, прекрасную жизнь повлекли...

Жена тревогу забила. Так в корыте на санках вместе с «драгоценными» монолитами и доставили оклемавшегося от спасительного спирта Ивана Степановича к станционному очагу.

Знаковой оказалась «поломка»: списала супруга-начальница подчинённого со службы. И впрямь, изработался. Уж и жёнушка частенько прибегала подмогнуть при снегосъёмках для определения высоты снежного покрова, его плотности, запаса влаги в снеге. С буром до поры до времени справлялся сам. Тяжкий труд — бурить комковатую почву. Для определения влажности со всех участков надо привезти полста баночек с почвой. Грузил их на велик и вёз в «контору». Сырую почву взвешивали, выпаривали в сушильном шкафу, снова взвешивали... Мороки хватало с этой влажностью. А последняя злокозненная «влажность» вовсе ответила старому спецу дикими вывертами. На ухабине загремел с велосипедного транспорта, баночки посыпались, бур потерялся...

А уж февральская катавасия совсем доконала любезную начальницу и дражайшую супругу в одном лице.

Вышел на заслуженный отдых и засмурел. Третий век в чистом поле, на свежем воздухе — и городская «хрущоба». Перед снами — видения недавнего прошлого... Вот он определяет густоту стояния растений, вот измеряет их высоту... А сны волнуются шёлковыми изумрудно-переливчатыми полями. Травы, травы...

Не прежде ли времени закончил, полевик, свой вольный шаг? Одышкой в четырёх стенах покрылся. Первую каплю апрельского дождика не заметил. Не услышал первый выстрел тополиной почки. Выбыл из природы Божьей. А жил с ней душа в душу. В старом блокноте серёжка берёзовая залежалась. Рыженькая, сыпучая, пахучая. Играл с ней ветер, Иван Степанович ласкал её да и положил в блокнот. Уж в ситец зелёный нарядилась майская берёзка. А Меркулова с ней нет. Домашним стал. Ишь, отдыхать уплёлся!.. Позевал, позевал в руку — и зашаяло... Дали отчие, неоглядные увиделись. Золотые стога, кочующие по неоглядимым полям. Огороды, осеняемые статными под-

солнухами. Избы под сенью вековых тополей. Деревня родимая — Ветка разрослась раскидистым деревом. Степное небо... Его чистое зеркало — Речица, опушённая серебристыми ветлами. Сколько воды утекло!..

Поделился с Надей, что надумал родные места навестить, проведать родненькие могилки и живых, кто остался. Скрестила руки на груди жёнушка, как будто на фронт провожала. Благословила крестным знаменем.

Иван Степанович трясся в переполненном автобусе, зажав ногами на полу рюкзак. Отовсюду давили, и он неловко рукавом байковой куртки вытирал катившийся градом пот с багрового лица. Скоро выходить, но ему никак с рюкзаком в руках не удавалось протиснуться к выходу. Вздохнуть трудно, не то что продвигаться. «При аварии разбить стекло молотком!» — красовалась на окне издевательская инструкция. Молотка здесь отродясь не бывало. Меркулова так и подмывало кулаком жахнуть — лишь бы только выбраться из этой душегубки. К счастью, автобус несколько раз трянуло на ухабах. И Меркулов смог вытиснуться из давки.

— Да, только тогда можно двигаться вперёд, когда трянуёт! — выпулившись из толчеи, облегчённо выдохнул Иван Степанович.

На подступах к железнодорожным кассам прямо под ноги пассажирам совались негоцианты мелкого пошиба: ягодницы, носочницы, рассадницы... Около бабки с семечками раздутый, как бочонок, топтался голубь.

— Кыш, кыш, проклятый! — махала она на него своей «куричьей лапкой».

Взьерошенная сизарка, подружка сизаря, по-бабы поставив ноги, грозно косилась на старуху.

Иван Степанович давно не ездил в поезде. Ребячливо перебрал в общем вагоне несколько свободных мест. Долго устраивался поудобнее: встречь дороге, подальше от дверей; чтобы солнце не било в глаза. И конечно, у окошка.

Мягкие переборные толчки состава. За окном поплыло...

Алая, как воздушный шарик, легковушка. Облепленная ксероксными долларами. Обменник. Мало менялам отпечатанных баксов, так эти эколошцы ошкуривали тополь и на «теле» его накарывали долларового паука... «Аптека. Адвокаты. Продукты. Дёшево» — всё

в одном дешёвом «флаконе». Следом мечта киргиза — «Салон будущего»... Пригород. Слепые оконница стрельчатых замков с радужным отливом, как чудовищные стрекозиные глазища.

Поезд вырвался на простор. Даль за далью летит — и не видно конца... Всколыхнулась грудь. Вспомнилось детство: речка, луг, ночное с костерком... Сердце помолодело, о былом взгрустнулось...

Бард в бандане надрывно, со слезой затынул:

Ты не пришла провожать,

Поезд устал тебя ждать...

Вот и знакомый перрон —

Только тебя нет на нём...

Стук монотонный колёс

Радость у встречи унёс,

Только вот я не пойму:

Как и зачем, почему?..

Плачет гитара в уходящей электричке. Почти не сбавляя хода, она высадила одного Меркулова. «Вот и знакомый перрон...» Разбередил душу, былинник...

После армии собрался Иван поступать в гидрометеорологический институт. А она, школьная любовь, не пришла провожать. И эта песня долгие годы надрывала его сердце...

Аромат цветущих яблонь и полевых цветов лился по перрону. Тополинный пух сеялся; ветви деревьев убирались им, как заячьим мехом. Он устилал перрон, щекал лица людей. Лишь Меркулов, истукан, ничего не чувствовал. Он превратился в ожидание... Поезд подошёл.

— Станция Березай! Кому надо, вылезай! — выскочил из вагона патлач с гитарой. И в тон безутешной тоске Меркулова заголосил, как плакальщик:

Ты не пришла провожать...

Перронная ярмарка кипела народом. Позалетошные дыни и тыквы на развале отливали бронзой. Стрелки лука, «снегири» редисок, пучки зеленушек. Солёные огурцы пряно нежились в кадушках. Дурманящий пар варёной с укропом картохи валил по перрону.

В вагонном окне, теснясь, порхали прощально пальцы. Патлач рванул струны и гаркнул:

— Хватай мешки! Перрон отходит!

Десятки разлук остались на перроне. Одни умерли быстро. Иные ещё какое-то время жили.

И лишь одна разлука живёт и поныне...

Здесь взлетают поля и не видно горизонта. Сердце щемит. Неведомая тоска-грусть. Бубенчик слышится и ветер коней. Забылся Ерофей-ямщик, прадед Ивана Степановича, в зимнем поле этом — в ромашковом сне. Всю степь до небес пронзил вой при луне волчьей...

Памятью отчей объят, смертью ямщицкою прадеда. Родиной всею...

Гулкая степь. Всякий звук эхами над нею разносится. Всё громко, вперемешку. Кузнечики-кобылки свистят оголтело. Осипла горластая даль. Перепелиная перекличка. Серебристый ручёк жаворонка в небе. Скрип болотной выпы. В озёрной неге камыши. Подрумяненный стожок. Лисовин брызнул солнцем. Славный Ваняткин дружок Гнедко пофыркивает, косится ласково сливовым оком на ездока. Ваня царит в кошёвке, полной земляники. В лесостепной полоске рясные земляничные поляны. В правой руке у возницы вожжи. А на мизинце левой перстенёк — бронзовый жучок. А рядом мама с папой идут...

Уж на погосте все родные-любимые. Поют им песни вечные ковыльные ветра. Гостит у них время вечное. Погостил у родненьких Иван Степанович. Пригубил из фляжки за упокой ушедших. Неведом неземной их путь. С любовью, со светлой слезой помолился, чтобы помог им добрый Господь во спасение, чтобы обрели они дом родной в Царствии Небесном.

Дом земной, родной, отчий крепился ещё, ждал блудного сына. Но из ребристого бока уже вылезло бревно. Капли смолы, как слёзы, мерцали в сосновых жилах. Укрепил горбылём бревно. Тёсом подпёр прогнувшуюся матицу в пятистенке. Затхлость, пыльность, запустение. До Троицы ещё неделя, а он по избе разбросал луговую овсяницу, украсил углы ветками берёзы. Обживёт, наполнит жизнью умирающий дом. Задержится на недельку-другую, а может, ещё останется на месяцок, погостит.

Дальняя дорога, травной, берёзовый дух упокоили мирно Ивана Степановича на добрый сон в родных стенах...

На плетне во всю зарю алеет петух, прогорланил, возвещая утро. Подсолнух новый день всё выше поднимает к небу. Селезень и утица с выводком утят покосолапили к речке. Лужайка во дворе курчавится гуси-

ной травкой. Разливной смех ребятишек — как ручьи неугомонные. Гуси-змеи, шипя, шиплют дразнильщиков-сорванцов за пятки. Порхание капустниц над капустами. Шелест слюдянистых стрекозок...

Шелест... Приснилось всё. От пугала огородного жердь торчит, осталась лишь мочальная борода. Шелестит... С дома справного соседей Макаровых крыша свалилась: жёсть вонзилась в бурьян, точно жало.

В пустой оконной глазнице последней избёнки Ветки — кошка-копилка с облупленным бантом на толстой шее. Лыбятся сыто. Мода городская, мещанская, поветрие залетело и в головку любви школьной меркуловской. Много ли накопила, богачка из папье-маше? Горе одно. Будто вечное время ухмыляется над ветхим, умирающим — деревней Ветки.

Нет горше печали — слышать весёлые дни. В жадном полынном огне тлеют косточки родной деревеньки...

В ветреном плаче гулко хлопнул ставень — стынет в уличной пустыне, в крови Ивана Степановича зов нищего родительского дома. Рябь тоскою пробежала по бездонным, тёмным лужам. Заспешил к родному порогу. Первая капля дождя упала на протянутую ладонь. Всколыхнулась вершина вековой, поднебесной берёзы. Зашумела, как буйный лес. Полыхнуло, треснуло. Ринулся с небес водопад, обвалился. Хохотала гроза, будто из дьявольского чрева, — отпугнуть его, Меркулова, последние крохотки жизни из умершей почти деревушки.

День не прожит, а полон греха. Это он, Иван Меркулов, виноват в порухе родной Ветки...

Грозовая наволочь ниспала морозящей вуалью. За ней маячили деревья, как люди... Родня, соседи по Ветке, друзья вольной юности. Многие с родительского двора погнались за призрачным счастьем. Письма, звонки, всё реже и реже. Потерялись. Он потерял их всех.

Рассвет заглянул в окно. Стрёб Иван Степанович увядшую, духмяную зелень в охапку. Забрался с нею по хлипкой лесенке на сеновал. Единственный жилец дома, старый сверчок возрадовался этой духовитости, возликовал в пении своём.

И утро раздумянилось. Верный страж заглохшего огорода подсолнух всходил вместе с зарёй. Вдохновил хозяина на подвиг ратный, трудовой. Ждала косаря в

углу повети литовка. Отбил её оселком до бритвенной остроты. Вздогнула от звона вымершая Ветка.

«Раззудись, плечо! Размахнись, рука!..» Ж-жик! Ж-жик!.. Чуть черень не сломал. Небо, раскалившись, дрожало. Пот валил по лицу, застил, ел глаза. Пласты кошенины с хрустом пружинили под гудящими ногами. Полынная горечь шибала в нос. И косарь морщился, довольный. Отрадно!..

— Лады, старичина! — подпершись руками в бока, оглядел хозяин огород, готовый для копки. — Как говаривала моя Надюшка, второй урожай сей, не зевай! Новаторша она в аграрных достижениях.

Пяток лет назад в погожую пору, макушка лета, навестила чета Меркуловых родителей. Сноха, агропещ, объявила: салат горчит и потянулся в стрелку, значит, пора обновить посадки в огороде, чтобы в августе собрать второй урожай.

Повторил Иван Степанович посадочный опыт жёнушки. Уработался к вечеру: всё буквой «зю» горбился. Едва спину разогнул; косточки ноющие, похрустывая, выправились, успокоились. Запотелый, солёный, поджаренный, еле выбрел с возделанных грядок. Ухнул на себя бадью колодезной ледяной водицы. Охолонул.

Сирень кипела, гроздьё её свесились за палисадником. Прошедшая ночью гроза сбила соцветья на боляшак. Сиреневый дух витал повсюду.

Не сверкала уже искристо реченька. А встарь от рыб закипала. Не поласкаешься с усладой в её струях. А прежде на приветном бережку обвевал Ивана речной ветерок под песенной рябиной. Весело рябило в глазах от солнечных кружев листвы. «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?..» Любимая мамина песня. Речица усхла, рябина...

Жизнь назад в эту же пору после суховея в отдалении вяло рыкнули тучи, прыснули. Струхнул верный Ваняткин дружок Тузик, забился под крыльцо. Ребятня заголосила:

Дождик, дождик, пуще!

Дай пшеницу гуще

И сдобный каравай!

Весь день поливай!

И вот уже лужи вспузырились. Брызгается в них бесштанная команда. Гром добродушно ворчит на по-

стрелят, загрохотал. Как чёрные мечи, яро сшиблись тучи. Илья-пророк метнул свои лучи, железно прогрел. А на щелястом плоту по необъятной луже штормует Ванятка-сорванец. И храбрый Тузик с задорным лаем по лужам летит к нему.

Гроза погрозила и устала. Иконой святой лик светился в окне. Мама...

Плакучие седые облака. Кукушкиного времени начался гулкий счёт. Блеснула зарница... Да, в жизни суетной есть уставшее счастье — тихо мир созерцать.

По лугу плыл в золотистых вечерних росах, щедро окроплённый. Под раскаты соловья тянуло песней скорого поезда...

Подправлял запущенное подворье, подлатал крышу, поставил упавший плетень. Возился в огороде, возвращая его к жизни. Обшарил чулан, голбец, чердак, погреб: наскрёб по сусекам на посадку картошки, важных огородных семян.

В годы доживания Ветку обесточили. Освещала она себя керосинками, лампадками, свечками. В чулане нашлись два пука свечек и бутылка керосина. В запущи доживали последний годок родители. В город к Ивану перебираться ни в какую не хотели. Родина дороже.

Огород, пропахший ядрёным мужицким потом, улаждал и взор, и сердце Ивана Степановича. А коли не уродится посев и тщетны окажутся труды — не беда. Иоанн Креститель отшельничал в пустыне. Одежду связал из верблюжьего волоса, постничал гожими травами. И у Иоанна Меркулова — купырь вдоль плетня. Высокий, статный, нарядный: зонтичной короной увенчан. Кормилец и поилец! Стеблем огуречно хрумтеть — детскость и для зрелого мужа! Из корня варево — пальчики оближешь! Листья — пряность изысканная. А настойка купырная — слаще хереса заморского.

Человеческий ум, исчисливший пути планет в необъятном поднебесном просторе, останавливается в недоумении перед Божьим творением — травой. В чём заключается жизнь этого купыря? Иван Степанович, коренной, от земли, ясно осознал: природа направлена в служение человеку. И купырь, и прочие произрастания — во благо ему, Ивану Меркулову. И он, теперешний огородник, возвращающий полезные растения, — соработник Божий.

При посадке лопата звякнула о подкову. Хоть и не верил ни в какое подковное счастье, повесил её на прилолке над крыльцом.

Обошёл всю деревню. Многие бревенчатые избы раскатались, развалились. Погрёб древние дрова трухлявый муравейник. Какая мельница так скоро перемолола их?..

Постоял скорбно над прахом избы деда Финадея... Вечеру кучковалась детва у его завалинки. А дедко вовсю старался постращать выходцами с того света и дивами, какие творились в старину.

Как наяву услышал нестрашный голос бабушки... Поклонился могиле дома его. Помолится: светлая память о тебе, дед Финадей!..

Вечерами после трудов праведных, сидя на крыльчке, вглядывался в вечное движение Вселенной. Оно отражалось земной симфонией: «жаркое» скворчание кобылок-кузнечиков, перепелиный «бой»: «пить-полоть!», скрип коростеля на болоте. А лягухи порой слаще соловьёв заливались!

В эту природную музыку врывались звуки поездов. Вот вскрик поезда донёс неясную грусть. Протяжные крики тревожили неизъяснимо душу. В них слышались всхлипы, плач, стон. И тоскливое эхо летело над степью. И сердце порывалось вослед ему.

Что за приваждение таилось в этом влечении?.. И вот пронзительный клич-зов поднял Меркулова с созерцательного крыльца. С зорькой вечерней зашагал к полустанку. На призыв поезда, к его ветру. На перроне ураган скорого захлестнул, чуть не затянул за собой. Едва устоял. Одиноким звук, оставшийся от поезда... Как будто застрял в пустыне. С грустью внимал ему Иван Степанович. И не заметил, как стал напевать:

Стою на полустаночке

В цветастом полушалочке,

А мимо пролетают поезда.

А рельсы-то, как водится,

У горизонта сходятся...

Где ж вы, мои весенние года?

Где ж вы, мои весенние года?..

Частенько хаживал Иван с первой любовью своей вечерами на полустанок. На зазывные клики, подобные журавлиным. К манящим пролётным огням зелёных и алых вагонов. К иной, неведомой, заворажи-

вающей жизни... Не знали, что простаивают на краю разлуки.

И вот он, нынешний, зачистил на перрон. Присуха, привада запоздалая любви, затерявшейся в прошлом? Нет, не на свидание с призрачностью ходил. Любовь... Глубже её, этого наваждения, — труд любви. На что и сподобил его с Надей Господь. Нет, что-то иное таилось в ежедневных походах, в этом притяжении. Но что?.. Бездонное небо, бескрайность степей, дорожная даль — издревле запечатлены в чуткой душе русского человека, в его характере, настроении. Неизъяснимая печаль пространства и времени...

Выходил на большак, одинокий, издробленный, как и Меркулов. Ветры сквозных поездов... Пронеслась шумная, яркая жизнь бывших городов меркуловских. Нет, не желал он праздного пиршества, звона вин кипящих!..

Однажды тянулся какой-то безрадостный поезд. На полустанке, заросшем полынью, вышел единственный пассажир. Долго стоял он, не зная, куда податься. Пришлец. Бурьяны перед ним, овраги-болотины. Дождевая пряжа застит глаза. Зверем на плечи навалился лопух. Куда идти?.. Не сдвинулся с места Меркулов, не помог. Бирюк бирюком.

В углу растрескавшегося павильона наблюдал за неприкаянным Меркулов. Наблюдал безучастно. Очерствел к внешнему иномиру. Пусть странник сам свою дорогу ищет...

Одичал, бороду отпустил. Опростились агрометеоролог. Такого звероватого, первобытного, Надюшка, поди, не признает.

Таился так же в углу. Поезд подкатил напояженный. Голова вельможная в глубоком размышлении клонила к окну. Отражались в нём люди непростого десятка.

Приостановился праздник жизни. Свет из открывшейся вагонной двери выхватил Меркулова. Выпорхнула голенастая официантка-стрекоза в кокошнике и кружевном фартуке. И поставила перед обомлевшим стариком красочный пакет. И как углядела его в тёмном углу? Видно, давно заприметила, сердобольная. Чего только не было в подарке: тушёнка, рыбные консервы, колбаса, сыр, крупы, конфеты, печенье, яблоки... Довольствие — месяца

на два! А коли с бережью, то и на декаду хватит.

Однако после такого гуманизма зарёкся старик ходить в подобное унижение.

Стерпел два дня — и в сумерках пошagal к полустанку. Притулился в своём углу, не понимая, зачем снова сюда припылил. И ночь, притаившись, молчала...

Протяжно вдалеке прозвучало: «А-а-а!..» Будто древний курган простонал. Шемящая ниточка прошила сердце.

Прожектор локомотива мечом рассёк тьму. Громы состава раскатились по степи, содрогая полустанок... Одинокий звук, оставшийся от поезда. Воздух ещё долго горчил железом, мазутом. Запершило в горле. Прокашлялся. Еле шевеля губами, начал перешёптывать свою вечность. Думы несметные: жена, семья... Многих обижал. Вот и теперь связь с ними потерял: не фурычит здесь мобильник, да и сдох он без подзарядки. Пора, верно, возвращаться. Надюха уж поди тревогу бьёт. И вот грех: не размягчается его сердце, не шибко беспокоится. Грехи... На похороны отца-матери не поспел. Друг за дружкой влёт к небесам поднялись... Больно!..

Закашлялся. Надрывно. Слезно. Заклёкло выдавил: — Не оглядывайся! — зачерствело в горле от долгой немоты, просипел, прохрипел: — Всех болей не вынесешь, Степаныч! Не оглядывайся! Жена Лота оглянулась...

Тяжко вздохнул, вспомнив библейскую трагедию с соляным столпом, в коий превратилась Лотова жена, оглянувшись назад, на горящие Содом и Гоморру.

Несметная душа жизни. Как мало её вобрал он, Меркулов. Но ведь и малая жизнь — жизнь. А понял ли он смысл её? Вот ходит и ходит на перрон. Зачем?..

Шорох... Кто-то ворохнулся в другом углу. Горький запах полыни шибанул в нос. В вышербленный угол, заросший лебедой-полынью, прямо на полу забился оборвыш.

Лысая голова луны глухо натянула на себя лохматую шапку тучи. Будто ослеп Меркулов. Но слепому ночью не темно. Тропа дорогу знает.

Шкет увязался за Меркуловым, сопит. Прибавил шагу — пацан не отстаёт. Поразился своей жестокости. Заоправдывался: привык к одиночеству, а тут... Остановился. Ни сопения не слышно, ни дыхания. Поша-

рил рукой в темноте. То ли кустик, то ли малец. Роса не осыпалась. Тронул за худенькое плечико. Пошли.

Оба сорокоты, они с десятков лет не могли обрести родительского счастья. Он ходил в моря, она итожила дебет-кредиты в строительной конторе. Обеспеченные, с горестью бездетности, решились на усыновление малюточки. Дабы в будущем помнил и знал только их, родных. Семья жила в достатке, одевалась модно, во всё заморское. Илюшенька, куклёнок, выглядел точно картинка. И в детском садике выделялся: весь в джинсе. Завистливые соседские кумушки своим чадам нашептали: он — неродной. А те — ему. А тут ещё мамка родила свою, родную. Сюсюкались с ней, о нём совсем забыли. Обидно ему стало, горько. Плакал. Убегал из дома. А его и не искали.

Подросла крохотулечка. Ильку к Аничке стали допускать. А у него уж ревность давно испарилась. Тянет деточка ручонки к нему: «Иль, Иль!» — лопочет. Отец в морях. Мать в декретном. Уйдёт в магазин, Ильке Аничку доверит. Бережно вынимал её из постельки, приговаривал певуче:

— Аничка, сестричка моя, вставай, любименькая!

Она слабо обнимала его ручонками за шею и укладывала головку на Илькином плече. Он нежно дышал в зорьку-щёчку, беличы гладил волосы. Осторожно отрывал от себя:

— Ба-альсая у меня сестриська, ба-альсу-усяя!

Как новорожденный голенаственный олешек, пошатывалась Аничка на ножках-былках — вот-вот подломятся. Он придерживал её и вёл в ванную умываться. И всякий раз она совала пальчики в дверное защемление — вот-вот хрустнут! Он вздрагивал испуганно:

— Аничка, не суй пальчики в дверь, а то прищемит!

Но всякий раз она забывала его предостережение. Выйдет, чистенькая, румяная. Подставится под ростом, тянется на цыпочках:

— Илюша, сколько я?

— Бо-ольшая уже! Целый метр и ещё целых четыре сантиметра!

— Ого сколько метров! Миллион, тыщу, миллиард!

А ей всего лишь четыре годика исполнилось. Такая математичка! Его, Ильки-второклассника, ученица!

И всё-таки не углядел он за своей воспитанницей. Прищемила она пальчик, расплакалась. Ор родительский оглушил его. И уже от них, родных, узнал, что он — неродной! Сколько ударов обрушилось! Схватился за голову, будто прикрываясь от невыносимых ударов. Губы задрожали. Но не разрыдался. Занемел, застыл.

Подула Аничка на палец, утешая боль. Встала перед братиком своим на защиту. Твёрдо проговорила:

— У паука-человекоеда вилка на носу. Он натывает на вилку ничтожников и ест их!

Так она пыталась образумить родителей, которые часто скандалили.

— Вот это якорь! — изумился отец. — Прямо-таки Жанна де Арк у тебя, Илья! Заступница! Что тут скажешь? Приплыли! Суши вёсла!

В такси ехали мамаша с малышом, распеваящим Высоцкого: «На Большой Каретной!..» На повороте чуть ли не под колёса метнулся включенный мужик. В охалке он держал ребёнка, завернутого в байковое одеяло, из которого высывались детские ножки в незашнурованных кроссовочках. С мужиком была женщина в серебристой куртке поверх длинного халата, в меховых тапках и в узких тёмных «инопланетных» очках.

Таксист хотел увильнуть от подозрительной парочки, но тут одеяло наполовину спало с ребёнка — и таксиста начало мутить. Новые пассажиры воспользовались его замешательством и бесцеремонно влезли в такси. Они о чём-то просили, что-то требовали от него, пока он, открыв дверцу, исходил тошнотой.

Мальчик-певун замолчал, и его восторженный земной вопрос вернул таксиста к действительности:

— А она у вас принцесса?

— Паршивка она! — отрезала женщина, усевшись рядом с водителем. — Вазу насмерть на голову напаяли. И как не задохнулась?..

Такой ответ совсем успокоил таксиста, и он оглянулся. Мужик байкал своё чудо-чадо, губами припадая к хрустальной её головке в бриллиантовых переливах узорочья. Такую невидаль с вазой на голове таксёр и принял за нлошницу.

— А вы её на выставку везёте? — с завистью спросил певун.

— В трампункт!

— В травмпункт! — презрительно поправил жену муж.

Освободили Аничкину головёнку из хрустального плена, куда она заточила её, чтобы не слышать, что она — родная, а Илюшка — неродной.

— Илька-а! — позвала аварийным голосом, но ничего страшного не произошло. Торжествуя подняла указательный пальчик и хвастливо повертела им перед братом: — Илюша, смотри, у меня палец докуда вырос! Во!

— У-ух, ты-ы!.. — удивился Илья, а сам уставился на Анину ножку.

По ней полз паук с крестом на широкой спине. И девочка не замечала его. С отвращением смахнул ладошкой омерзительного гробовщика отважный мальчик.

Как росинка на листке — вся светилась деточка. Зубки полупрозрачные. Ледышки ладонок — без рисунков, словно стёрта судьба.

— Илюша, у меня щёки больше души. Во какие полные! — раздула щёки.

Илья стал бережно отогревать её ладошки в своих:

— Ты у меня молодчинка! Давай поднатужься, хватит расслаивать! А то маме с улицы всегда в туалет приспичивает.

Легка мамка на помин. Но не на «угнетатель» полетела, а перед трюмо стала вертеться: моднящую «адидасовую» сумку отхватила. Перед мужем покрасовалась с покупкой. Он неуклюже, по старинке, пошутковал:

— Модё кто хапнул «адида», тот завтра родину продаст!

— Заливное из трепангов! — уела остряка супружница: на трепача, дескать, не обижаюсь. И всё-таки не удержалась: — У нас с тобой разные конституции характеров!..

Началась перебранка. Губки у Анички плаксиво задрожали:

— Опять аэрогром! — она шмыгнула носом: — У меня такой насморк от них! Илюша, он может побежать из носа с нашего этажа по лестнице и на улицу.

Малышка «рудокопом» зарылась в недра постели, спасаясь от «морозного» крика. Илья погладил одеяло. Аничка всхлипнула:

— Умру от них таких. Возьму и умру!

Подавленно застыл над её кроватью Илья. Нашупал под одеялом пяточку сестрёнки, пощекотал. Враз заходившаяся в смехе от щекотки, на этот раз Аня стойко выдержала. Вылезла из-под одеяла и проникновенно, по-взрослому посмотрела на брата:

— Все в земельку ложатся, а птички умирать улетают в вышину. Когда я умру, Илюша, я буду к тебе прилетать.

Холодно ему стало. Замёрз. И сам как будто простыл. Под носом помокрело. Глаза слёзно защипало. В горле запершило. Прокашлялся по-мужски, в кулак:

— Не, Ань! Ты же молодчина! Не-е!.. — и он озорно потряхнул головой:

Ляли-ляли-ляли,

Два пупсика гуляли

В розовом саду,

Штанишки потеряли...

Сестрёнка улыбнулась, подхватила:

Ехал мимо дядька,

Штанишки подобрал.

Два пупсика кричали:

— Украл, украл, украл!..

Четырёхлетнюю Аню Радимову вертолётom доставили в Научно-исследовательский институт кардиологии. Девочка угасала на глазах, всё чаще и чаще теряла сознание.

Кардиологи под руководством Костромина В.М. установили диагноз: врождённая аномалия сердечного ритма. Помочь могла только имплантация искусственного ритмоводителя. У взрослых пациентов операция освоена. Но имплантировать стимулятор ребёнку кардиохирургам ещё не приходилось. И впервые накануне замечательного праздника — Дня защитника Отечества — успешно завершена сложнейшая операция! На снимке: проф. Костромин В.М. с Аней Радимовой после операции.

«ПроГород», 23 февраля.

Никакие ритмоводители Аню спасти не могли. Один Илья знал причину. Аэрогромы! Будь они тыщу раз прокляты!

Одеялко сбилось к стене. Тельце Анички, серенькое, прозрачное, как будто ни разу не гретое солныш-

ком, лежало враскидку. Словно вольная, летучая душа сбросила недужную свою одёжку. И словно душа та парила за окном перистой зарёй и не спешила улететь от родимого горького дома. И свет её мерцал в золотисто-карих глазах Анички.

Она умирала не на руках отца и матери. Он с морей ещё не вернулся. Она на кухне выла, заливая горе выпивкой.

И не слёзным комочком в постельной норке умерла Аничка. Вольно умерла, открыто, маленькая «рудокопка». Рядом с другим «рудокопом», с братиком своим Илюшенькой. Рука в руке. В другой он держал мокрую от слёз газетную фотку. Трое суток после операции хранил он её у своего сердца.

От предчувствия надвигающейся беды, от недосыпа, от муки этой жёсткая складка, точно рубец высеклась на его лбу к переносице. Слёзы о близкой смерти сестрички белый проклятуший свет застили. Он слепо целовал ручонки, родимые, похожие на градусники. Согревал родную кровушку. И отсветом её мерцала слабая улыбка. Узнающая. С милым успокаивающим лепетом. Дышал в её ладошки: без него, без его тепла, казалось, она тотчас замёрзнет...

Мать, зарёванная, белое зеркало, отражавшее февральскую зиму и чёрную зиму семьи, в которое смотрелась смерть доченьки, убрала за шкаф. Болезненно улыбаясь, погладила Илью. Пыталась неразборчиво заговорить с ним. Но он молчал. Он — онемел.

Она почему-то называла доченьку и сыночку неженками-манеженками, как будто они капризничали перед ней. Илья задремал на пяток минут. И вздрагивал. Слышался ему последний Аничкин вздох. Так сладко вздыхают перед желанной смертью. И успокаивался. Но там, где солнечными зайчиками прежде играли приустные ямочки, темнели горькие складки.

Сгасло солнышко, забитое ссорной лузгой. Как сгаснет, быть может, и весь белый свет...

На чёрно-мраморном могильном клине сияло оно — памятное солнышко. С садишного снимка переснял фотограф личико Анички. Сияло оно и в руках мальчика во главе малышковой процессии с венками. Будто с поздравительной открытки сошла девочка: румяная, с ямочками. Вот-вот улетит на воздушном шарике от счастья.

Обычай — деспот среди людей. Захожие печальницы издешевили прощание. Смерть чужая — с горюшину. Короткая суeta крестьящихся старушечьих рук. Суетливые языки, как сосательные конфеты, катают имена Радимовых. И невольно глаза у многих пощипывают слёзные букашки.

— Отлетела жизнь малая.

— Смерть причину найдёт.

— Бог дал — Бог взял...

Сыренькая старушка со скорбным личиком перекрестила гробик с деточкой. Печаль мертва без боли. Старушка склонилась над детским ликом и вопленицей крылато взмахнула руками:

— Я лечу, безгласна, бездыханна, уношу свои воздушные ноженьки. Поплачьте по мне, мамочка и папочка, и братик мой Илюшенька...

Сердце Ильи нестерпимо сжалось, рыдание комом застряло в горле. В глазах потемнело. Едва не задохнулся. Кто-то поддержал, погладил по голове.

— Утешьте, знакомы и незнакомы! Утешьте меня, не мучьте беспамятством вашим, а то не долететь мне до ангельской звезды! Пришла февральская моя смертушка, так придите, добрые, поглядите на вашу Аничку!..

«Старуха... Чужая совсем... Аня так и заявляла: «Я, Илья, — февральская!..» А сама в июле родилась...» — Илья сгорбился, отошёл от скорбной толпы и схватился за грудь, сдерживая удушающее рыдание.

Мать распоряжается, покрикивает. Платок прозрачно-стрекозиный, и сама летает. Женщины в тёмном, плачут, а она... Отец объявился, выпивший:

— Потихе ты! Доченька наша умерла, а ты...

Остановилась. Курьими шажками сошла с подъездного крыльца. Повела вокруг больным, нездешним взглядом — и зарезанно взопила... Увезли на «скорой».

Столько мельтешило лиц перед её глазами, столько чужих глаз лезло к ней, столько взглядов висло на спине паутиной!.. И чтобы в этой серой щебёнке её глаза не завертелись сумасшедшим колесом, она спасалась — делом, хлопотала. Окриком своим муж сшиб её, лунатичку, с опасного гребня крыши — с межени здравости и безумия.

Попрыскала заря холодной сукровицей и потухла. Небо осунулось. Потемнели морды тихих машин.

Мышцы похоронной дороги. Февраль — а по ней толпою туманы пошли. Сиротская зима.

За слезой — всё в тумане... Чудится, одни деревья в этот погребальный час. Вот рванулись они с корнями!.. Вороний грей, воробьиная карточка — прощальный салют.

Окаченный медным светом оркестра, кумачово-лосный гробок опускается в яму. Ослепшего дня столбняк.

Землѐю на землю повалилась темень. Серебристый голубиный ветер взвился высь, словно завернулась звѐздной пылью жизнь Анички... Слезой лица не умыть. Земля за ворот колюче набилась, на зубах ознобно похрустывает.

Рассеялась толпа. Призрачный свет в тѐмном кладбищенском поселении...

Не спит душа, слѐзная, всё бродит и бродит. В прошлом, во вчерашнем — в Аничкином... Не может ей в настоящем. Всё тело и голова за ночь переломаются. Давно бы от боли такой глаза вылились. Да рядом, в тихой светѐлочке, в уголке — Аничкины игрушки. В окошке светѐлки той лунной засмотрелся как-то Илья на кругленькое облачко в жемчужной короне. Отозвалось оно на тоскующую его душу, близенько подлетело. Одуванчиковое, полупрозрачное, пряное... «Когда я умру, Илюша, я буду к тебе прилетать».

Вздыхнуло окно. Потрескивание суставов рамы. Рассовывалась по углам, по щелям ночь....

Ребятишки в садике Илью узнали. Он часто приводил и забирал сестрѐнку.

— Аничкин брат пришѐл!

Сейчас отстреляется ложкой-вилкой его торопыжка и выскочит, егоза, с кашей на счастливых щеках. «Мой Илюша пришѐл! — возвестит на весь белый свет о знаменательном событии. Не стеснясь ехидных мальчишек, ухватится «лялечкой» ручонками за шею...

Не выскочит, не ухватится.

Детишки, бывшие на похоронах, смотрят на Аничкиного брата скорбно и жалостно. Нет Ани.

«Паровозик» по «рельсам» молнии школьного ранца, ползѐт туго, спотыкается. Молоденькая воспитательница, которая «ни на кого не кричит», украдкой

шмыгнула платочком у глаз, и её руки плавно повели «паровозик»... Куклы, кровати, посуда, фломастеры, раскраски, «Весѐлые картинки»... Это вам, детки, от Анички!

Молоденькая, а такая умница, чуткая. Увела шумную ватажку с подарками: оставила брата с сестричкой наедине. Он подошѐл к Аниному шкафчику, погладил его, погладил малиновый кругляшок на дверке — солнышко закатное. Осторожно открыл шкафчик. С верхней полочки, словно живой, заждавшийся, скатился малиновый клубок скомканных гольфиков — Илья едва успел подхватить его. На крючке — вот-вот упадѐт — еле висел розовенький мешочек. Бережно перебрал на ладонях чешки, трусики, футболку, носочки — уронил в них лицо...

Донышко шкафчика было в песке: с обувкой из песочницы Аня натаскала. Там белели сандалики. Сложил дорожную одежду в мешочек. Собрал в горсть песок, пересыпал в кармашек ранца.

На стене висел листок с указанием веса и роста детей. 21. Радимова Аня — 18, 5; 107.

«Илюша, сколько я?» — «Большая уже!»

Они сидели на лавке возле могилы дочери: согбенные, закаменевшие. Каждый день навещали её. Долго стоял перед ними Илья. Оба чуть приподняли головы и вновь застыли. Из кармана ранца он высыпал на ладонь Аничкин песочек и разбросал на могилке. Ранец с садишными вещами Анички поставил на краешек лавки.

Он вышел из трамвая на своей остановке. После смерти сестры сутулился и взгляд его почти всегда упирался в землю. Заметил на тротуаре десятирублѐвую бумажку. Поднял, завертел головой. Женщина, вышедшая из трамвая вместе с ним, остановилась как бы в растерянности. Подошѐл, протянул ей десятку. Она улыбнулась:

— Добрый мальчик! Бери себе!

Налетела ватага малолеток; долговязый вожак выхватил чирик, и бродяжки со смехом, по-хозяйски, пошествовали по улице. Илья почему-то поплѐлся за ними. Вожак приотстал, взглядом смерил его с головы до ног:

— Айда с нами!

Долговязый Воча (урождённый Вова), неисправимый детдомовский бегун, верховодил разнокалиберной компашкой. Обитала вольница в дощатой будке на теплотрассе, соседствуя с вентилями. Рядом с трубопроводом тянулись железнодорожные пути. По обе их стороны до самого вокзала теснились бойкие кафешки, сувенирные, галантерейные магазинчики. У их дверей путались бабки с семечками и пирожками. Широкое поле деятельности для смышлёных, вороватых гавриков.

Весело лузгая семечки, удачливая команда, с наличностью и провиантом, обосновалась дневать в своей вентильной. Воча оценивающе оглядел новобранца:

— Тебя как звать?

Тот, нахмурившись, мотнул головой.

— Да он шизанутый! С головой не дружит!.. — загалдели вочевцы и определили: — Немтырь он!

— Меня бесит! Немтырь, а вон как разделся! — Воча приблатнённо цвиркнул сквозь зубы и приказал: — Скидавай!

Немтырь снял с себя пуховик, джинсовую куртку и штаны, ботинки на меху. Остался в трусах, майке и вязаной шапочке. Зрители развеселились:

— Ну клоун!

— Пряма как Никулин!..

И захохотали, когда Воча, стащив с себя семисезонную одежку, принялся напяливать на свою долговязую фигуру гардероб Немтыря. Плонув на неудачную попытку, буркнул:

— Краля, тебе мастёво!

Из угла вышла девчонка в серебристо-голубых дутышах-луноходах. Лица её не было видно. Оно глубоко упряталось в головной убор, напоминающий полураспущенный полосатый носок. Шерсть его, казалось, насквозь была пропитана никотином: белая пряжа пожелтела. От Краля за версту несло табачищем. Она впотайку, в рукав попыхивала.

И родители порядочные, но отбилась от дома. Тихоня тихоней, а без спросу умотала с подружками в армию кавалеров провожать. Вернулась, накинута на неё предки:

— Отец с матерью с ног сбились, все больницы, морги объездили, обзвонили! Табашница и гулёна!

Тося, один грамм никотина лошадь убивает! Раком заболеешь!

Сдвинула на затылок «носок», с вызовом выкрикнула:

— Не объездили, вам машина дороже! И почему вы меня Тосей зовёте? Какая я вам Тося?!..

И в школе на прогулы её сокрушались:

— Неглупая, хорошистка. Честная к тому же, слова не соврёт. И вот поди ж ты!..

Пробовали на классном часе разобрать — вскинулась:

— Не торчу, химку не тяну! — и бросила прицельный взгляд на критиков: — Как некоторые!..

Забрала шмотки, переделалась в углу. Протянула свои Немтырю. Распотешились зубоскалы, пока тот облачался:

— Ништяк чучело!

— Космонавт!

— Ну теперь на Луну! Наши ещё там не бывали!..

— Поменялись одеждой, — прервала веселье Краля, — ты теперь мне, Немтырь, как братик.

«Здорово она похожа на Аничку! — упрятав лицо в «трубу», подумал он. — Если бы Аня подросла, она была бы точно такой же. Только Аня бы не курила... Подходящую одежду подкинула Краля. Само то! Глухота и немота».

Делу — время, потехе — час. Отправилась бригада на работу. Воча привёл Немтыря на дело к значному месту. Кафе «Рифей» почитал местный художественный люд невысокого полёта. По их настоянию кафешка получила название во имя героя Троянской войны Рифея, воспетого Вергилием в поэме «Энеида». Закадычные столики рифейцев приткнулись к окну, подоконник которого находился чуть выше плитуса. Разгорячённые деятели культуры, несмотря на запрет, покуривали, дымя в приоткрытое окно. В жарких спорах о высоком вообще распахивали его настежь. И сподвигали на кражу приглядчивых воришек. Ибо кейсы, портфели, барсетки, сумки стояли не только на полу, но и на подоконнике. Весьма заманчивое местечко: не хочешь, а слямзишь наглядно выставленное на нём. Оно так и просится в «умелые» ручки! Соблазн!.. Уж сколько раз твердили художественному миру: не ставьте вещи на показ, да ещё в

открытое окно!.. Умом Россию писателей, художников, музыкантов — не понять!

Оконные кражи рифейских посиделок стали неотъемлемым их «номером». Пропажа паспортов, членских билетов, рукописей, нот, важных документов, денежных сумм лишь попервости омрачала пострадавших. Ущерб недолго огорчал возвышенные музами сердца, витающие в эмпиреях. Воровашки потрошили добычу близ места преступления. Забирали деньги, клёвые вещицы: мобильники, часы, авторучки. Остальное, ценное для лохов, скромники деликатно предлагали выкупить по сходной цене.

Профессионально, психологически тонко разводил художку Галуха. Заморыш, в обдергайке, жалкий-прежалкий, представал пред захорошевшими мэтрами и вскидывал свой ясный и честный взор:

— Дяинька, я вот тут... — шмыгал, вытирая рукавом нос, — нашёл в кустах... Это ваше?.. — возносил вверх «находку».

«Дяинька», обрадованный хозяин пропажи, лихо радочно рылся в ней, находил безвозвратно утерянное и встречал требовательный взгляд благодетеля:

— Дяинька, с вас... — и шпендик называл сумму «по таксе», по значимости «найденного».

Весьма высоко ценились ключи, паспорта, права. Членские билеты похитители не шибко уважали. Толстенные же рукописи и партитуры (творческие годовальные муки!) и вовсе нервировали их при потрошении и выбрасывались на ветер.

Такса таксой, но главной оценщицей выкупа была реакция хозяина находки, его волнение, радость. А иные так обалдевали, что целовали свои потеряшки: чмоки-чмоки!.. К удивлению Галухи, больше всего чмоков доставалось писанине, нотным закорючкам. И он смекнул, что с таких прибалдевших лохов и стоит брать поболе.

Немтырь, ясен пень, даже «дяинька» выговорить не мог, даже промывать жалостно. Но прикид его «луноходский» — прикольный, тоже зацепить художественные натуры может. Да и к делу надо приучать.

Несуразный Немтырь мозолить глаза выпивохам в «Рифее» не стал. На улице промозгло, и окно не открывалось. И он был рад этому. Не вор же! Ни с чем вернулся в схрон. На него наброси-

лись с кулаками, пинками, матерками. И вытолкали на исправление: чтобы пустой не появлялся!

В забегаловке стоял дым коромыслом. И валил из распахнутого окна. А на подоконнике красовался — Бэтмен, летучей мышью распластанный по всему рюкзак. Помялся Немтырь, переступил с ноги на ногу — и протянул руку к нему. И тотчас отдёргнул — как от ожога.

Вдохнул облегчённо. По блестящим россыпям окон окружающих домов, по этим вечерним кроссвордам он угадывал время. Увиделся свет родных окон. Там отец и мать. Ждут ли?.. Домой пойти? Там тепло... Неприветные холодные окна. Там нет Анички...

В смутном воздухе медузами плавали фонари. Они слабо высвечивали леер над откосом, обмётанный замшей мелкой росы, да «резиновый», сырой асфальт тротуара.

Окно кафешки захлопнулось. К несостоявшемуся малолетнему вору подошёл с «Бэтменом» за плечами мужчина в клетчатом кепи. Это был редактор книжного издательства. В «Рифее» он отмечал с автором договор об издании романа. Объёмная рукопись с трудом уместилась в редакторском рюкзаке. Бесценная. Отредактированная. Полгода каторжного труда. Сочинитель, зверовик, толково разбирался в пушнине, но писал весьма своеобразно: «Раздался выстрел, секачь скавырнулся вверх», «намело за носы». И устной речью заметно выделялся: пишшит, свишшит, ешшо, ихний. Даже досточтимое заведение, в коем справлял историческое событие, навеличивал по-своему: кахве «Рихвей».

По сути, редактор заново переписал опукею «По следу вепря». Иные подобные огуреи экономно обходились без посторонней помощи. Издательство едва держалось на плаву и со всякого захожего писаки сдувало пылинки. Каждая страница таёжного опуса, отпечатанного на раздолбанной пишущей машинке, была размашисто, по-кавалерийски, «порублена» редактором красной ручкой. Писучий охотник ахнул от своего искромсанного творения и щедро расплатился с самоотверженным мучеником. Вручил ему также премиального соболя на воротник супруге. И соболиный мех уютно уместился с «Вепрем». Цены не было этому рюкзаку!

Редактор приметил несуразно одетого гавроша,

который тёрся у «Рифея». Похоже, из тех ордынцев, что обкрадывали рифейцев. Но этот оказался совестливым. Не украл, когда выставилась на кражу бесподобная ценность. А мог бы! Не похвалят соплеменники. Вот и торчал на месте непроступления, не зная, что делать, куда податься...

Редактор осторожно коснулся его. Тот направил на него тёмный, безликий раструб головного убора. Выхватив протянутую ему тыщу, бросился бежать. Путаясь в длиннополом одеянии, он походил на раненую птицу. Грохотали встречные составы. Их ураган взвихрил нелепое его пальто со вздутыми плечиками...

Хоть он и не украл, но всё равно будто воровал. И бежал с места преступления. Но куда?.. Теперь, с такой добычей (с целой тыщей!) пендалей уж точно не отхватит.

Влетел, запыхавшись, в вентиляную. В поднятой руке держал — тысячу рублей! Кусок! Крупняк!

— Хвоста нет? — насторожился Воча и выглянул на улицу. — Сявки! Атас! — заорал он и приказал: — В Лопухи! В Лопухи!..

Да, хвост за Немтырём увязался. Редактор кинулся за ним, чтобы узнать, где обитают беспризорники, чтобы помочь им: такой гонорар отхватил!..

Их слудло как ветром. Он ошупью потыкался среди рулей-вентилей. Сыро. Душно. И как они здесь?.. Дети же... Тяжко вздохнул:

— Подранки... Беда! Вина наша взрослая. Сердечная недостаточность.

На прелой земле в окружении трубопроводов, протянутых от теплоцентрали, вымахало дикое, непролазное дурнотравье. Под опахалами мощных лопухов, под защитой рослого, колючего бодяка-осота. Дебри!

Слыла эта terra incognita среди горожан под названием Лопухи и наводила страхи своей дурной славой. Располагалась сия заповедная зона за железной дорогой, за складами, гаражами.

Сторожевые облачки гаражных фонарей меркли от вершнего снежного света, хлынувшего из-за курганов туч. В снежность перед гаражным заплотом вкрадывался бензиновый запах. Над мазутной жижей копошился оборвыш. В нём редактор признал самого настырного «продавца» краденого по кличке Галуха. Хлюпая носом, сопя, он макал в жижу шмат пакли. Со-

вал его под нос, всапывал в себя угарную вонь. Ребёнок нюхал бензин!

Редактор бросился к мальчонке, вырвал у него паклю. Сгрёб нюхача в охапку и отбежал с ним от проклятого места. Маханул по крутому откосу и вознёс малыша на видовую площадку над гаражами. Пошатываясь, чумазик блаженно закатил глаза, большерот улыбаясь. Редактор легонько пошлёпал его по щекам в грязных, пахучих потёках. Тряхнул за болоньевый рванный плащишко. Галуха очумело выпучил глазёнки:

— А меня бесит! Ну ты чо-о?!..

— Ты же отравишься, дуралей! — опять потряхнул редактор мальчишку. — Умрёшь! Не будет тебя!

— Не-а! — отчаянно замотал тот кудлатой головёнкой и словоохотливо пояснил: — Прикольно! Взрослые пацаны в Лопухи убежали «химку» тянуть, а я маленький ещё.

Редактор беспомощно заозирался. Различил выходящих из тумана гаражников. Кинулся с ребёнком к ним:

— Бензином наркоманил! А я — в Лопухи!..

Печально известные Лопухи многие годы служили лежбищем для безвольной смертной пьяни. Непролазная лопуховая глушь, близость теплоцентралевского обогрева на случай непогоды влекли алконавтов всех мастей. Но вот Лопухи с края подрезал ещё один трубопровод. И в их серёдке зазяла дыра колодца с утробным ржавым дыхом. И наркоманный борзой подрост вышиб презренных алкашей из богатых лопуховых субтропиков.

Вспугнув богодулистого псину, редактор с обочной улки, пропахшей складской затхлостью, сошёл на заскорузлую криулину. Она спускалась словно в никуда, в темь, в лежбище смутной тишины... В пожухлых травах бродил полынный дух с пыльной пресниной. Ломая ржаво осыпающиеся будылья конского щавеля, редактор на ошупь хватался за погремки белены. Продрался сквозь травяные колтуны, в паутине и ошмётках, к пьяно мятым лопухам. Цепляя на себя репейные ёжики, набрёл в лопуховых зарослях на тяжкий запах застарелой мочи.

Паркий чад призрачно реял над засаленным пятачком земли. Там — нырок в преисподнюю. Всё меньше дьяволу работы: человечешки сами лезом лезут. Утроб-

ным ржавым теплом шибануло редактора из железной дыры. Он стащил рюкзак с плеч и забросил в лопухи.

Ослизлые скобы колодца спускались в прокисшую темь, точно там гнило тряпье. Дыхание спёрло, грудь разламывало. Задрал голову: будто чугунный кулак, сжималось над ним небо. Душно и парко. Во рту сухо, шершаво.

Затаились, единым слухом напряглись те, внизу. Прервали свой «гимн»: «Анаша, анаша, до чего ты хороша!» И вдруг кто-то твякнул: «Сявки!»

Плеснулся бензин, вспыхнул на вторженце. Нестерпимо белым осветило его. Вой ветра пронёсся наверху, как похоронный бабий плач.

Выметнулся наружу в огненных лохмотьях — и стал кататься, кататься... Снежинки-мохнушки слетели к нему на помощь. Пороша — крапчатая от пепла. Густой повалил снег. Горелая колкая трава уже не жалила крапивой. Лишь ноздри жгло порохом сухой травяной пыли...

Бог миловал — легко отделался. Обезболив ожоги кетоналом, поутру побрёл в Лопухи. В опалённой трухе нашарил рюкзак, почти невредимый, лишь выгорела бэтменская летучая мышь.

Не видно, не слышно пернатую мелочь. Но приглядевшись, различил франтоватых щеглов, напомаженных, с пестринами в сюртучных фалдах. Они возмущённо трещали на выжившем чертополохе: как же так, ведь здесь ещё вчера стояла могучая лопуховая тайга, жировая кормёжка?!

Будто провальная бездна зияла — чернела гарь. От чадной её горечи запершило во рту. И выжженным, как это убогое место, увиделось сиротство отверженных взрослыми детей...

Конец Лопухам! Что дальше?..

Первый улов (штука!) почти уравнил Немтыря с другими добытками. И Воча отрядил его в подмогу Галухе. Тот, сбежав в сотый раз из детдома, последнее время промышлял у лесенки-чудесенки. Выщербленная, в дюжину ступенек, она вела к хрущобам, стоявшим подковой на всхолмлении. В мартовскую гололедицу пешеходы поскальзывались на ней, судорожно хватаясь за хлипкое трубчатое перильце.

Вероломный Галуха раскурочил поручень; разбил фонарь, коброй нависавший над лестницей. И сторо-

жевал в кустах возле неё только в поздних сумерках. Караулил спешащих домой хозяек с продовольственными сумками или подгулявших в меховых шапках мужичков.

При слабых отсветах жилых окон поднимавшиеся по обледелой лестнице без поручня жертвы бухались, роняя порой ручную ношу или ондатровую шапку. Галуха вышмыгивал из кустов акации и миглом подбирал потеряшку. Потому и называл сие доходное место лесенкой-чудесенкой.

Выждать, когда грохнется какая-нибудь тёханка, приходилось подолгу, до колотуна. И «чудесник» умудрился ускорить процесс падения. В напарники ему Воча прикрепил Немтыря.

Теперь и на не обледелой лестнице продолжался сбор дани. Галуха выпуливал из кустов и каскадёром подкатывался под ноги жертвы. Оба кубарем валились с лестницы. Галуха корчил из себя потерпевшего, жалостно стонал:

— Тёинька, ну чо вы?..

И если та не выпускала из рук сумку, норовил вырвать её. Немтырь подбирал добычу и улепётывал — в один из хрущобских подъездов. Подвалы и чердаки здесь не запирались, и Немтырь спокойно пережидал суматоху на лесенке-чудесенке. А там слышались женские охи и ахи, телефонные вызовы полиции. При появлении стражей порядка Галуха верещал:

— А меня бесит! Тётичка сама меня толкнула! Отпустите, меня мамка ждёт!..

— Ишь ты, его ещё и бесит! — негодовала ошарашенная «тётичка». — Вот наглец! А ну-ка, куда сумку подевал, паршивец?! — трясла его, словно силиясь вытряхнуть пропажу.

— Но-но! — строжил разгневанную какой-нибудь сержант. — Разберёмся!

— А меня бесит! Чо ты?!.. — вопил Галуха, яростно обхлопывая себя и выворачивая для наглядности карманы: нет ничего, пусто!

Неудачно раз вывернул — со скрюченным тубиком клея «Момент», который приохотился нюхать. И тут молодая потерпевшая вскрыла тёмную суть ограбления:

— Да он — нюхач! С ним ещё один был. Стрёмное чучело. Вот туда убежал! — и она указала на дома.

— Жилец, что ли? — грозно спросил блюститель и со знанием дела возразил: — Не-е, преступный мир, где живёт — не крадёт. Так что, гражданочка...

— Отпустите, меня мамка ждёт, — не верещал уже, а канючил Галуха.

Полицейский подтолкнул зачуханного шпендика:

— Ладно уж, иди! — вздохнул: — У таких мамок родительские права надо забирать! — мельком глянув на дома, успокоил потерпевшую: — Разберёмся, гражданочка...

Мамки у Галухи не было. Не стало её год назад. Родная тётка отвела шестилетку в детский дом. Там Рому переиначили в Галуху. Чухонец, чушок, чушенок, галуха — так обзывали хромушек, кривых, заик, лунатиков, мочунов-морячков и прочих слабаков, и мелкотню. Мелкий самый, Рома, стал Галухой. Быстро приунылся к суровому детдомовскому быту. По-блатному цвиркал сквозь зубы и, как прочие галухи, всё время кривился, выражая недовольство:

— А меня бесит!

Как и все галухи, вечно ходил в синяках. Когда пятиклассник и переросток Воча заваривал очередную улётную станицу птенцов д/д, охотно улетал вместе с ним. И пережил столько, что не каждый мужик переживёт за всю жизнь.

Немтырь Галуху уважал: маленький — а самостоятельный. Не по душе ему была лесенка-чудесенка, но хотелось хоть немного походить на бывалого жигана. Крики пострадавших, плач об украденном, ушибы, боль, мольбы к полицейским... Начал было привыкать к этой обыденности. Но однажды при нападении старушка с кошёлкой расшиблась, увечилась, не могла подняться. Хныкала, как ребёнок. Прохожие вызвали неотложку.

Немтырь надумал уже бросать подельника с его лесенкой, как тот вляпался в неприглядную историю. Залез с бабкиной хлебной кошёлкой в Як-40. Самолёт-памятник высылся на постаменте в парке культуры и отдыха. Хочешь что-нибудь занюхать, клади на видное место. Он и закурковал. Прежде всякую добычу доставлял всей артели. Крупно порой перепадало! А тут — убогая кошёлка с буханкой. Да оголодал на сей раз. Скрысятничал. Жадность фраера губит. Застрыл в турбине самолёта. Вечером подморозило. Терпел, тер-

пел... Заколов в ледовитом металле. Чуть не ослеп. Еле пропищал.

Собачник овчарку выгуливал. Та уши навестила. И он прислушался. Вызвал спасателей. Эмчээсовцы вытащили из хвостовой части самолёта «пилота». Недолго отваживались с шустриком: быстро оклемался. Спровалили в родной-неродной детдом. А оттуда — очередной улёт.

За то, что облажались на добычливой лесенке-чудесенке, отправил Воча Галуху и Немтыря к трансформаторной будке, украшенной черепом с костями и надписью «Стой! Убьёт!» Электрики поставили подстанцию на пустыре между кварталами — потребителями электроэнергии. Силовые распределительные устройства, трансформаторы, были увиты-перевиты проводами, медными и стальными кабелями. Цветной металл! В скупке за него неплохо дают.

В криминальный дуэт затесалась Краля. Названная сестрица Немтыря как чувствовала беду и оградила братика от трагедии. Ответственные лица за режимом эксплуатации подстанции не следили. Ржавая дверь её болталась на одной петле. Краля с Галухой хотели было арматуриной скovyрнуть дверь на металлолом. Но скрежет оглушил гулкий пустырь. Казалось, вот-вот повыскакивают жители окружающих кварталов.

Краля поставила братца на стрёме, а сама с Галухой сунулась в будку. Он с арматуриной шмыгнул поперёд неё... С оглушительным треском нутро подстанции заискрилось...

Полубогорелая Краля на расспросы спасателей бессвязно бормотала о немом братике, о Галухе, который из детдома, и что она не Тося, а Таисия...

Из ожогового центра в сердечных слезах свою любимую доченьку забрали родители.

Обгорелое тельце Галухи забирать было некому. Его зарыли в безымянной могиле.

Рома, Рома... Даже имя твоё никто не вспомнил. Сердечко неприкаянное...

Сколько ещё таких деток, галух, сгинет в бесчувственном взрослом мире!..

Змеящиеся искромётные разряды из трансформаторной будки отшвырнули Немтыря. Едва не загорелся шерстяной «носок» на голове. Покатился под угор...

Отлежался в ложбинке. Ночевал в тёмном подъезде

дома, обесточенного аварией на подстанции. Замёрз. Выручила обмундировка Крали. Сестрёнка по скитаниям... Что с ней? С Галухой? Хотя бы ничего с ними не случилось! «Мы, детдомва, — живучие!» — геройствовал жиган. Хотя бы...

Под утро дали свет. Подивился: среди какого «богатства» он спал! Пустые банки из-под энергетиков, одноразовые зажигалки, шприцы, газовые баллончики для зажигалок, фантики от снюса.

Даже по приказу Вочи газом не дышал. Видел, как «газовиков»-снифферов разом накрывало, глючило. Дурели по-чёрному, хохотали, дичили. Корёжило их, рвало, выворачивало наизнанку в судорогах. Оклемаётся мученик, выветрится из него дурь — и опять за своё. Сниффер! Герой!.. Глаза красные, слезятся. «Стажисты», умирая, не умирали, какое-то время держались. Новички, слабаки, — мёрли быстро.

Среди наркотного мусора в яркой обёртке зазывно поблёскивала конфетка. Слюнки потекли. Голод не тётка. Покатал леденец во рту. Сладостная сосачка!.. Яркое всё, радужно!.. Аничка с родителями у могилки на лавочке сидят. Его ждут. К ним направился...

Померкло, посмурело. Голова закружилась. Затошило... Тяжело дыша, выбежал во двор. На детской площадке забился в теремок... Точно табачок некурительный, бездымный, с никотинчиком отведал. Сосательный. Снюс... Хвостик психоделической картинки мелькнул: резво шагает к Аничке, к родителям...

Отдышался. Сердце не частило. Дурнота прошла. Побрёл... Может, домой вернуться? Но там Анички нет. Никого там нет...

Не заметил, как дошёл до пустыря, до трансформаторной будки. Словно ничего не случилось. Лишь дверь засуричена. Может, всё обошлось. Однако осадок горечи на сердце. Как будто виноват. Ещё больше занемел в себе самом, в Немтыре.

Отряд Вочи не заметил потери «бойцов»: текучка кадров. Теперь он ошивался на вокзалах и в электричках.

Немтыря потянуло в дорогу: уехать подальше от своих горестей. Перед вокзалом возле ТЦ «Восторг» скамья была завалена игрушечными машинками, цветами, конфетами. Здесь погиб подросток. Купил с друзьями в «Восторге» баллончик газа для заправки зажигалок. Надышался им до отравления. Упал. Друж-

ки запаниковали, вызвали «скорую». Но друг их был уже мёртв. Камээс, кандидат в мастера спорта — надежда лёгкой атлетики. Да дружки подбили на снифферинг. Необычно, заманчиво!.. И стихийный мемориал.

Голодный Немтырь в куче поминальных подношений разглядел пачку печенья. Несмотря на угрызения совести, мимоходом стянул её. В подворотне ближней панельки миглом проглотил квадратные сливочные печенюшки.

Зашагал на вокзал. На перроне стояла электричка. Закуклившись в своё одеяние, забился в угол полупустого холодного вагона. Надышал тепло в своём «домике». Как когда-то с Аничкой под одеялом надышивали...

— Маешка, носощка, футболошка, полотенщика!.. — череда монотонных голосов усыпляла.

Негоциантки узбеко-цыганских кровей, люли, подметали оборчатыми подолами вагон за вагоном. Тягомину родичей прервал орёлик в полосатом замурзанном халатишке.

— Буду петь! — звонко объявил он. Почесал золотушное ухо, закатил глаза, заголосил: — Там-бурам-бум! О-о-о!.. Там-бурам-бум! Добрый люди, дай две рубли! О-о-о!..

Профессорского вида старичок погладил козлиную бородку:

— Одна-ако!.. Чистый Робертино Лоретти!

— Из табора он! — возразила старушенция в допотопном капоре. — Из табора! Вилипут. Они, цыгане, растят их для цирка.

«Профессор» досадливо поморщился и напел себе под нос:

— Там-бурам-бум!.. Чистый контральто. О-о-о!..

«Контральто» никто не оценил. Даже на «две рубли». Сплошная глухня.

Чумазик же ощутил цыплячьей спиной тяжёлую поступь, жар надвигающейся туши и улизнул за эту громадину. Вразвалку, с бляхой, ступала ревизорша, выковыривая цепким взглядом съёжившихся «зайцев». Попадалась неопытная, пугливая мелочь. Владычица штрафовала её или стряхивала на ближайший перрон. Бывалые же зайцы-побегайцы умело избегали столкновения с этой грозой, перебегая на остановках из вагона в вагон.

Сидевшего в углу Немтыря ревизорша не побеспокоила. В своём несурзном уборе он походил на мешок. Зато его заприметила гастролирующая труппа из его бывших артельщиков.

Не успела вагонная публика восхититься солистом Люли, как на сцене нарисовалась другая потрясная солистка. Обряженная снегуркой старушка с пластиковым стаканчиком в руке детским голосом запела:

— Вешело, вешело вштретим Новый год!..

При этом ноги в красных сапожках рисовали бублики. Покруче ансамбля Моисеева. «Профессор» ссутулился, искоса поводя на это «контральто» угрюмые очи. Треск отборных слов посыпался на её голову:

— Ё-моё!.. Вот это девочка-припевочка!

— Эффектная дамочка!

— Феерическая шоу-звезда!

— Целый год его ждёшь, как родного. Встретил, выпил — и ждёшь его снова. А тут круглый год — Новый год!

— Деушка-праздник!

— Футы-нуты, карнавал!

— Особенных людей много. Нормальных мало.

На уязвления со стороны крапивного зрителя провалившийся рот исполнительницы лишь осенялся блаженной улыбкой: спокойно, господа, спокойно!..

Не успела «снегурка» испить горькую чашу позора. Едва уклонилась от подступившей сзади процессии. Во главе её хромала утка с надломленным крылом. Она истошно, со скрежетом, крикала, натягивая поводок, который держал цыпунной рукой конопатыш. Он семенил за орущей «серой шейкой» и старался перекрыть её:

— Мы — экологи, защитники природы! Нуждаемся в лечении большой утки! У неё болит ножка и болит крылышко. Подайте кто сколько может!..

Замухрышечка выныривала из-за его спины и наглядно поглаживала утиные лапку и крылышко, нуждающиеся в лечении. Птица проникалась к доброй девочке признательностью и замолкала.

Пассажиры вытаращились на «экологическую» процессию, точно выходцы с того света объявились перед ними. Ещё парочка замурзанных «экологов» побежала по вагону, протягивая руки для «защиты природы».

Замыкал шествие долговязый Воча. Он сам, как гусак, вытягивал шею, вертел головой, выглядывая жертвователей и подталкивая к ним девочку.

— Утя, утя!.. — прониклась сердобольностью тётушка, которая лущила заскорузлую лепёшку подсолнуха.

По каким закромам-сусекам поскребла, запасливая? До новых подсолнухов ещё ого-го!.. Соблюдая санитарные нормы, она сплёвывала лужу в кулёк и поддержала «эколожцев»:

— Берегчи природу надо! Молодцы юные юннаты! Октябрята — юные ребята!.. Утя, утя!.. — и щедрым жестом бросила под «нос» утке недолушенный подсолнух.

Та жадно принялась щипать его, словно траву на лужайке. Весь вагон вперился в утиную трапезу. И очнулся от взгляда ревизорши. Её глаза выпучились, будто хотели выстрелить. Пока вызывала полицию по местной связи, «эколожцев» вместе с уткой точно ветром сдуло...

Своим чередом вместе со станциями и полустанками бежала обычная вагонная жизнь. По-хозяйски, как у себя дома, сновали похмельные мужички, посасывая на ходу пиво из бутылок. Отважный самый шегольнул, булькнул в себя водку «Мужское достоинство». Подзабрало его, и он во все глаза уставился на яркую красотулю. Продефилировала юнчиха, не по сезону раздетая. В морковных панталонах, в свекольной кофточке с глубоким вырезом. Грудь на вынос!.. Привлекла умиленные взоры поклонников телесной роскоши. Пропорхнули сверстницы её — студенточки-щебетуны: сессия, семестр, зачёты...

Бурчание «политиков» о правящей верхушке, повальной коррупции, клептоманах-олигархах... Задумчивость тётушек: пенсии, цены, расписание электричек, дачные посадки...

В разноголосице редкое слово выхватывалось слухом, ни один возглас толком не прояснялся. Мерный и смутный говор под мерный стук колёс...

С разных станций и полустанков в устоявшуюся вагонную жизнь всё более прибывало народу. Немтырю в его гнезде становилось душновато. Да и ноги сводило от долгого сидения. Сколько ехать электричке и куда?.. К прохладе вышел в тамбур; упакованный в свой «гардероб», прижался в углу. Услышал гвалт, голос Вочи.

Тот освободился от «экологического» бремени, по дешёвке всучил утку одной из дачниц. И продолжил атаманить в поезде, науськивая своих малолетних щипачей на мертвецки пьяных мужиков. При «текучке кадров» он не жалел о потерях, но когда отряд шибко редел, мстительно относился к слинявшим от него. И ему не терпелось разобраться за подлянку с появившимся Немтырём. Сам слинял, и Галуха с Кралей запропали. Как ни в чём не бывало предложил:

— Айда с нами!

Тот молча направил на него тёмный раструб головного «носка».

— Немтырь, ты всё ещё немтырь? — с издёвкой спросил Воча. В ответ на молчание приказал: — Скидавай! Шпеня, тебе будет мастёво.

Из свиты вынырнул конопатый утиный «па-стух» и с готовностью стал стаскивать с себя одежку. Немтырь дорожил Кралиной одеждой, накрепко сжился с ней: ноская, удобная и память о Крале. Пальцы правой руки сжались в дулю, и он показал кукиш Воче. Тот, как ошпаренный кипятком, схватился за голову. Дуркуя, резко ударил кулаком чушонка под дых и прохрипел:

— Меня бесит!

Немтырь упал. Подручные с восторгом до трусов раздели отщепенца. Ни звука не проронил он. Свернулся на полу, как младенец в утробе матери. Вечно озабоченным пассажирам не до ребячьих шалостей было.

Воча рванул стоп-кран. Железная судорога пробрала состав от локомотива до хвоста. С лязгом, скрежежом, грохотом содрогнулись вагоны. Поезд затормозил. Вагонная дверь отползла влево.

— Не ушибись, каскадёр! — и развесёлая кучёшка вочевцев выпихнула чмошника из тамбура.

Благородный Воча швырнул в него шмотки конопатыша.

Он скатился по галечной насыпи и уткнулся в тряпье, застрявшее в спутанных травах. Потирая ушибы и ссадины, надел выброшенное Вочей добро: скукоженные штаны, стоптыши и пегий пиджачишко на голое тело.

Выбрался на железную дорогу. Зажмурился: нестерпимо сверкали огненно-холодные искры рельс.

Потёпал в сторону ушедшей электрички. Морщась от боли, с трудом переступал со шпалы на шпалу... К счастью, вскоре показался полустанок. Полуразрушенный, с прохудившимся павильоном. Но всё-таки укрытие.

Дверь запирали только на вертушку, как и калитку. Бояться в заброшенной деревне некого. Лишь лягухи норовят ознакомиться с житьём-бытьём старика. Частенько на крылечной сцене концерты закатывают, слух улаживают. В сей же час гастролируют на задах, на согре.

Размял фитиль, зажгёт керосинку. А спутник его уже спал, сидя на крыльце. Облокотился в коленки, лицо уронил в ладони. Словно в плаче. Жалостная слеза скользнула по щеке старика. Смахнул ладонью. Поднял бережно свернувшийся комочек. Намалялся, сердешный, даже не ворохнулся. Уложил в кровать. Милое детское личико. Но жёсткая складка, точно рубец, высеклась на лбу к переносице. Сколько же горя выпало на твою долю, малыш?!.. Замурзанные штаны и пиджачишко, стоптанные до шлёпанцев войлочные башмаки без шнурков. Осторожно снял стоптыши, одежку. Вздрыгнул: тельце в кровоподтёках! Слёзный комок подкатил к горлу. Укрыл ребёнка стёганым ватным одеялом.

Тяжко пошаркал на крыльцо. Запахи злые старости. А тут ребёнок на руках... Бог послал. Бог и поможет.

Сел на крылечке, в задумчивости подперев кулаком бороду. Какая-то промыслительность проявлялась в его житии на родине. Хаживал на полустанок. Попервости закрадывалось сомнение: а не заурядное ли это убийство времени, погребение?.. Но ведь после трудов праведных, до пота порой, вышагивал. Удалённость от забот и неволя, сторонность от всего наносного иное жизненное измерение явили. В палисаднике клумбу взрастил: астры-звёздочки. А над ней неброская краса клумб звёздных. Родное пепелище. Родное и вселенское. Сокровенность, душевность мира Божьего. А хватит ли душевности человеческой для найдёныша, явленного промыслом Божиим?..

Сон — лучший Божий лекарь. Ребёнок спал без малого сутки, до вечера. Иван Степанович успел за это

время, сноровисто, по-солдатски, спроворить обновку мальчонке. Перелицевал, ушил, перештопал одежную старину: сатиновую, холщовую, хабэшную.

Проснулся малыш. Утопая в пуховой перине, поба-рахтался в ней. Свесил ножки с кровати, сонно поклёвывая носом. Птенчик, слёток. Поднял голову. Взгляд взрослых глаз, исподлобья, прищельный, в упор — испытующий. Выдерживая этот взгляд, улыбнулся мягко Иван Степанович и хотел было заговорить с мальчиком. Но тот жёстко сжал губы. «Боже, горемыка! Неужто немо... глухой?!» — в смятении спутались мысли Ивана Степановича. Проверая слух бедняжки, окинул избу руками:

— Дом! — и ткнул себя кулаком в грудь: — Дед!

Мальчик кивнул. Дед радостно, зовуще махнул рукой. Ребёнок, босенький, пошлёпал за ним.

Кровеносное сердце меркуловского подворья — колодезный, как избушка, сруб под крышей. Пришёл Меркулов к нему после дальних житейских дорог, словно к величественному храму. Не утратил навыков общения с ним. Тихо, без грохота набрал тогда живой водицы, дабы очиститься от городской наносности, от дорожной пыли. И жаркий огородный пот смывал студёной серебраночкой.

Молодцевато подошёл с мальцом к колодцу. Приосанился перед святым действием, крестиком меленьким окропил себя. Крепким шлепком ода-рил крутобокую двухвёрдную бадейку, опоясанную клёпаными обручами и прикованную за ушки к гремучей цепи. Плавно опустил её в бликующе-влажное бревенчатое чрево. Сдерживая норовистый ворот за скорузой ладонью, как звонарь, прислушался к колодезному благовесту. Покряхтывая в лад с воротом, поднял, погромыхивая цепью, истекающую звонкой водицей бадью на верхний венец сруба. По-богатырски вознёс и, как был в исподнем, ухнул на себя вал воды. Крутая банька! В субботу дедовскую с каменной, с парком жгучим затопит... Захлёбываясь, хватая ртом серебристые брызги, посверкивал росной бородой. Шурился, сладостно вдыхая ядрёный дух и свежесть жизни, поглядывая на мальчика. Тот, в одних трусёшках, даже не отпрянул от хлёстких ледяных брызг. Холодные струи стекали по нему, а он равнодушно смотрел на бодрого, мокрого деда, облеплен-

ного исподним бельём. Стойкий оловянный солдатик. Не проникся свежестью жизни.

И всё же мальчик, омытый благостной водицей, виделся Ивану Степановичу чистеньким, как бы крещёным. Привычным жестом он позвал его в дом. Подал ему полотенце. Сам переоделся. Из аптечного шкапика достал зелёнку с ваткой. Хотел было смазать болячки ребёнка, но тот упредил «врача». Аничка, егоза, частенько набивала себе шишки. Любименький её доктор Айболит бережно крапал синячки зелёнкой, умело сводил их. Сам накапал зелень на досягаемые места. А вот на спину... Оглянулся. Иван Степанович догадливо взял у него пузырёк. Невольно коснулся «белых» русых волос, длинных уже. Потыкал ваткой по худым в ушибах позвонкам. Осторожно, даже боязливо.

Недоверчиво, опасливо смотрел ребёнок на мир. И порой холодок пробирал Ивана Степановича от его взгляда. Ребёнок — с глазами старца!.. Стеснялся Иван Степанович выглядеть перед ним в одних трусах, облачался перед сном в исподнее. И при купании приличествовало так же. Пока мальчик не освоился, не пообвык, надлежало вести себя весьма предусмотрительно.

Испещрённому зелёнкой мальчонке Иван Степанович подал стопку свежей одежды. Тот оделся в своей спальне. На загляденье справа скроена! Толстовка, холщовые штаны, плетёнки из сыромятных ремешков. Всё впору пришлось! Ай да портняжка, Меркулов! Ещё бы постричь мальчика под горшок — вылитый крестьянский сын! Опрятно на душе!..

Господином стола водрузил блистающий медью жаркий самовар. Открыл дарственный пакет. Спроворил знатный стол. Гостенёк дорогой! У того же все эти яства-кушанья не вызвали никакого восторга. На самом краешке богатого стола ютился тубик лимонного цвета: майонез «Провансаль — Ряба». Дружба народов Франции и Нижегородчины. Именно его выбрал мальчик. ловко отвинтил колпачок и выдавил на ломтик батона сливочно-яичную горку. С Аничкой он «стряпал» такое лакомство... Аж целых три таких бутерброда зараз умял! Проголодался. И чинно продолжил трапезу. Пожевал кружок краковской, пластик сыра в дырочку, с хрупотком съел печатную печенину. Воспитанно, не хлюпая, попил чаю вприкуску с «Белочкой». Сладёна Аничка любила эти конфеты с орешками. Всякие-раз-

ные фантики копила... Благостно попивая чай, Иван Степанович по-отечески поглядывал на мальчика. Довольно поглаживал бороду, с хрустецой покручивая ус.

Почаёвничали молча, с благоговением даже. По обычаю крестьянских семей, где не принято ласы точить и выказывать аппетиты.

Вполне удовлетворённый обстановкой старинного уклада, Иван Степанович после застолицы сверх своих глаз надел покупные. Раскрыл перед мальчиком блокнот и протянул ему ручку. Он хотел, чтобы тот написал что-нибудь о себе, хотя бы своё имя.

Мальчик плотно сжал губы. По школьной привычке писал для пушей грамотности вслух, по слогам вышѣптывая слова. Теперь же вымолвить даже односложное ему было крайне трудно, невозможно. Да он и не хотел, а может, и вовсе разучился говорить. Он — немой, немтырь. Ни к чему слова. И без них всё понятно. Без них даже лучше. Уж как повезло: и дед — молчун.

Вотчаянье мучился Иван Степанович: как растопить сердце ребёнка, расшевелить, пробудить интерес к жизни?!.. Ничего в доме не интересовало его. Ни семейные фотографии в рамках, где бородатые деды в кафтанах, в тулупах, с ружьями. Ни даже ходики с гирьками-шишками, с медведями с картины Шишкина. Лишь однажды взгляд его задержался на божнице с ликом Господа, иконами Богородицы и Николая Угодника.

Немые клекочут обычно, мычат — малолетний же новосёл меркуловский ни разу не издал ни звука, даже во сне, как Штирлиц. И в этом Ивану Степановичу мнилась некая странность: а взаправду ли он немой?.. И тут же гнал это подленькое сомнение: психике ребёнка, верно, такая травма нанесена, что он, будучи говорящим, онемел. Но такие, случается, избавляются от немоты. Человечество училось говорить, произнося простые слова: мама, папа, дед, баба, дом. Надежда есть. Дай-то Бог!

Во дворе мальчик начал проявлять некую живость: погладил лаковые листочки розы, посаженной Надеждой. Лепесток слетел ему на ладошку. Поднёс к носу, вдыхая пряный аромат. Так же веяло от Анички... Вылушил салатенькие горошинки из стручка. Нежные, молочные. Вообразил стручок лодочкой. И поплыла она по воздушным волнам... Под резными шершавыми лопушками затенился огурчик подковкой. В

пупырышках, жупка в полоску. Похрумтел, всасывая огуречную прохладную водичку. Невольно глянул на настоящую подкову. Она висела над входной дверью. В дровянике подобрал рогульку, снял подкову. Сидя на крыльце, принялся камушком соскребать ржавчину, драить. Руки с непривычки чуток поотбивал. Но подкова поблёскивала.

Иван Степанович старался не беспокоить мальчика своим присутствием. Копаясь в огороде, лишь изредка поглядывал в его сторону. Звяканье по металлу удивило. Пригляделся к «мастеру». Похоже, свершалось подковное счастье, в которое не верил.

Подкова на солнце осеняла дом. Оживший, запевший от ласточек воздух. И под стреху меркуловской избы поселилась касатушка. «Связала» искусница пуховую «варежку» — уютное гнёздышко.

Приставив шаткую лестницу, мальчик осторожно поднялся к гнезду. Со щебетом прилетела ласточка. Золотисто-палевое с чёрно-радужным отливом оперенье. Приветливо посмотрела на гостя карим глазом. Рука его потянулась к ней. Погладил нежно-атласную спинку, едва касаясь подушечками пальцев. Бережно взял касатушку, словно ручную, тёпленькую, ласково-родную. А сердечко её так чутко затрепетало в небесно-ангельском тельце. «Все в земельку ложатся, а птички умирать улетают в вышину. Когда я умру, Илюша, я буду к тебе прилетать». Аничка!..

Струнулся лёд в мальчике: слабая улыбка проскользнёт, приветность в серых глазах...

Кружится над меркуловской избой стайка касатушек. Не уследить глазу ни за одним полётом. Он везде — полёт: зигзаги, пикирование, солнечный взмыв! Небо исчиркано. Крылья — саблями звенят. Воздух поёт, шипит, раскалённый крыльями. Брызжущее вершанье. Радость жизни! И там — Аничка!..

Оживал мальчонка. Стал бегать за бабочками-стрекозками, норовя словить их соломенной шляпой, «одоленной» у огородного пугала. Бегаёт, бегаёт — и вдруг как бы споткнётся. Раскинет ручонки — вот-вот бросится к Ивану Степановичу, прижмётся к нему...

Перехватывало тогда дыхание у старика: он почти ощущал его ручонки на своей шее. Комок слёзный до боли сердечной. Как же настрадалась эта душенька родненькая!..

У овражка, на задах, на согре, сочился зацвёлый, во мишистой ослизи камешник. И влага затем терялась в хвоще. В хлюпающей няше кругом разложил мальчик камушки. И собралась вода в бочажке. В нём сумеречным вечером закурлыкали лягушки. Разноголосица: тьяканье, хрюканье зелёной жабы, урчание травнушек — скоро сложилась в ладный хор.

Притягивало мальчика к себе его творение. Дед не досаждал. А он — самостоятельный. Мальчик, который гуляет сам по себе.

Пузырились из бочажка лягушечьи головы. Не шелохнётся натуралист. Чуть шевельнулся — лопнули пузыри, уплеснулись, убулькнули квакушки. Лишь видны сквозь притихшую водицу студенистые гроздьи икры.

Первой после затишья отважно всплыла зеленоватая-серая жерлянка. Разлеглась курортно под лопушником мать-и-мачехи с серовато-войлочным подбоем.

На камешек-окатышек влезла коротконогая, в смутных пятнах, лягушонка. Чесночком попахивала. Вылупила чесночица на мальчика кошачьи зелёно-золотые зенки, будто ждала что-то от него. И он чуть было не квакнул. Вот бы Аничку, сестричку, сюда! Она бы уж передразнила квакушку... Взгрустнул, сморгнул слезу.

После ливня бочажок разлился с целое озерцо. И вода из него побежала к Речице. Отшумела Ветка. Без людей умолкли речи Речицы. Разбудит ключи в её истоках ручеёк из рукотворного бочажка, засверкавшего озерцом. Подступили к нему одуваны в яром цвету, гусятная трава и вздуто-полосатые подорожники. Затем подросли хвощи с кипреем, да лютики, да прочие цветики. И вахта, болотная сирень, произвела свой розовый салют в честь освоения берегов этого замечательного озера! И как всякое порядочное озеро вскипело оно всяческой жизнью. Резвились запятушки-головастики: точно с тетрадки школяр страхнул.

Замрёт озерко — хрустально-манящее. И так захочется испугнуться в нём! Да ведь нарушится эта малая жизнь. Не малая... Наладился же в дедовой лохани купаться. И то ладно. Озёрко нельзя тревожить. Сколько в нём жизни!

Всякую крохотку подмечал приметливый глаз мальчика. Подойдёт тихо Иван Степанович и заглядывается вместе с ним на жизнь природную. Придёт час,

и наречёт для просвещения юного натуралиста каждую травинку, всякую букашку. И заживут стар и мал с природой душа в душу.

И вот диво дивное! Себя обозначил юннат! На берегу озерца, на песке различил Иван Степанович: «Илья». Ветка рядом лежала. Ею написал. Илья! Илюшенька!.. Слёзный комок подкатил к горлу. Слёзы радости... Тихо отошёл, чтобы не вспугнуть созерцание Илюши.

На тихой глади воды две тревожные точки возникли. Какие-то зверьки. Жёлто-бурая шёрстка на головах, задранные над водой сосредоточенные мордочки. Бурундуки. Оба держат в зубах хворостинку. Тяжело так плыть — но плывут. Странная парочка. Вылезли на бережок, обессилено обронили веточку. Страшененькие, похожие на полосатых ящерок. Отряхнулись, распушились — обернулись милыми зверушками. Но нет в них бурундучьей юркости, весёлости. Покрупнее — бурундучиха, скованная какая-то. Мордкой не покрутит, ухом не поведёт. Только ноздри в остром чутье играют. Меньший, похоже, сын, заботливо оглаживает её, облизывает, охорашивает.

Учуяла бурундучиха человека, повернула к нему насторожённую мордочку, раздула ноздри.

Замер мальчик и вздрогнул, догадавшись, что слепа зверушка. Не видела она его: мертвы тёмно-коричневые пуповички глаз. Ничто не задевало и слух её. Слепа и глуха, несчастная. Но несчастна ли в сыновней любви и заботе?..

А он, Илья, всё видит и слышит. Но рот как будто запечатан. Не размыкается. Как и могилка Анички. Произнесёт ли когда-нибудь слово?..

В душный полдень после огненного огорода студил Иван Степанович горящие ноги в густом подросте сочного кипрея. Иван-чай снимал жар и со всего тела. Под колыбельное пение золотых пчёл разлёгся труженик огорода в духмяном царстве, улета в сон золотой...

Морща полуистлевшую от жгучего пота рубаху, полз щитомордник. В пестринах, щитки на голове, ребристая чешуя. Исчадие!..

Так же полз по Аничке паук-крестовик...

Леденящее шипение с потрескиванием. Похолодел Илья. Смахнул рукой омерзительного гробовщика. Прошептал: ■



ОЛЕГ СЕЛЕДЦОВ

Родился в 1967 году в городе Бодайбо Иркутской области. Печатался в журналах «Москва», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Юность», «Родная Кубань» и других СМИ. Лауреат многих литературных премий. Живёт в Краснодаре.

КУРОРТНЫЙ НЕРОМАН

Мичман Марухин уже десять минут делал знаки сидящему в президиуме Коле Суворову, чтобы он уходил. А как уйдешь, если рядом сидят целых четыре контр-адмирала, генерал-лейтенант и вице-адмирал? Но, несмотря на такое соседство, уходить было нужно. Если опоздать к последнему автобусу, придется ночевать в Севастополе. Конечно, их как участников комсомольской конференции флота разместят в гостинице, но волокиты при этом уйма, да и ложиться спать на голодный желудок — занятие скучное. Наконец, Коля, набравшись смелости, чувствуя на себе неодобрительный взгляд одного из контр-адмиралов, стал пробираться к выходу. К счастью, ни один стул в президиуме не был задет его ногами, да и бескозырку свою он от волнения не позабыл прихватить, и вот они втроем с мичманом Марухиным и старшим матросом Черненко — радистом штаба базы — почти бегом устремились к автовокзалу. Опоздали. В расписании значился только один рейс в их сторону. До города Саки.

— Живем, братишки, — потирая руки, сказал на это мичман, — у меня в Саках теща проживает. Поедем к ней. Все равно дома ее нет, гостит у сестры. Ключи у меня есть. Переночуем в домашних условиях. У тещи в холодильнике всегда есть что пожевать и... чем промочить горло.

А что делать? Не возвращаться же в самом деле на затянувшуюся конференцию? Взяли билеты до города Саки.

Город этот, кстати, кроме смешного названия, знаменит на весь Союз курортными здравницами по лечению женских болезней. Что такое женские болезни, Коля Суворов не знал, но

возможность побродить по курортному парку в окружении множества очаровательных курортниц сторицей компенсировало его, казалось бы, напрочь загубленное комсомольской конференцией настроение. Он потихоньку стал даже подобно мичману потирать руки, предвкушая чудесный вечер. Как здорово, что на конференцию в Севастополь их отправили именно с этим мичманом-штабистом, у которого есть теща в прекрасном городе Саки.

Вообще делегация в Севастополь формировалась тщательно. Еще бы, ведь конференция проводилась в преддверии всесоюзного партийного форума, а новое мышление, навянное стране перестройкой, требовало выдвигать на судьбоносные сходы партии и комсомола самых достойных, коими без сомнения были и штабист-мичман, и старший матрос Черненко, грудь которого украшала медаль «за отличие в воинской службе», да и сам Коля, старшина первой статьи, рулевой противолодочного корабля, о котором неоднократно писали газеты как о победителе соцсоревнований. Такие люди, конечно, не могли запятнать честь военно-морской базы на столь представительном форуме, ну, и вели они себя крайне достойно. Коля был избран в президиум, а Черненко выступил с заготовленным в политотделе базы сообщением на злобу дня, что вызвало одобрительные аплодисменты даже высшего офицерского состава. И все же ребята они нормальные, компанейские, без всяких излишних «прогнутостей» перед начальством, далеко не те образцово-показательные пай-мальчики, которыми часто представляются комсомольские активисты.

А вот и город Саки. Автобус высадил морячков у автовокзала и уплыл ночевать в порт приписки — Севастополь. Дом тещи мичмана Марухина был недалеко. Хорошо было вновь оказаться в уютной домашней обстановке. Коля дважды за свою службу был в отпуске дома, а вот Черненко, хоть и имел медаль, в отпуск не ездил ни разу. Далеко. Где-то под Хабаровском. Да и служил Черненко на полгода меньше Суворова. Все еще впереди.

У мичманской тещи нашлись уют и гладильная доска. Морячки отгладили измявшиеся в дороге форменные брюки и белые «голландки», куском ветоши надраили ботиночки-хромочи и, перекусив запасами из тещиногo холодильника, слегка промочив горло тещиным самогонном, отправились гулять по городу.

Всем, включая женатого мичмана Марухина, хотелось поскорей попасть в курортный парк, где в такую чудную погоду разгуливали одинокие курортницы, в тоске без мужского плеча лечившие свои какие-то женские болезни. Погода стояла великолепная. Теплый крымский вечер, переполненный ароматом пьянящих акаций и дурмящих магнолий, просто требовал от морячков внимания к выздоравливающим красавицам. В парке было уютно. Зелень, цвет, тепло и запахи лета сплелись в один венок, опустившийся на шеи морячков сразу же за центральным входом. Но главная достопримечательность парка была чуть дальше — женщины. И сколько! И какие!!! Морячки приосанились и штормящей походочкой поплыли по партеру, грудью, висками и спиной ловя на себе восхищенные взгляды курортниц. Саки хоть и находится в Крыму, но военных баз здесь нет и моряков можно встретить лишь на автовокзале по пути их следования из Евпатории в Севастополь. А таких морячков — комсомольскую гордость базы? А если на груди одного из них медаль, а у другого красавиц знак «За дальний

поход», а у третьего кортик на боку? Бегите, женщины, наперегонки, хватайте свой шанс развеять курортную тоску. Но женщины никуда не бежали. Словно и не могли бежать. А и в самом деле не могли, ведь почти все курортницы покоились в инвалидных колясках. Десятки инвалидных колясок курсировали по центральному парковому партеру вокруг лихих морячков, и очень быстро их восторг сменился удивлением и даже растерянностью, что, конечно, не делает чести настоящему морскому волку.

— Что это? Отчего они все в колясках? — еле слышно прошептал Коля.

— Они лечатся от женских болезней и, шут его разберет, от чего еще, — сухо ответил мичман: — Ну что, пройдемся еще, поищем ходячих?

Да уж, оставаться здесь было как-то некомфортно что ли. Морячки пошли дальше, но уже без прежнего энтузиазма, и чем дальше заходили они в глубь парка, тем хуже и неудобней им было. Все новые и новые коляски вывозили им навстречу обладательниц восхищенных глаз, смотреть в которые было больно до слез. Это были глаза подбитых птиц, любящих небесную вольницу, но не могущих утолить в ней свою любовь. Стало темнеть. Чудный крымский день неохотно уступал место волшебной крымской ночи.

— Братишки, пошли-ка отсюда, — сказал вдруг мичман, и приятели энергично, забыв о флотском шике, затрусили к выходу.

Спасибо надвигающейся ночи, укрывшей своей плащ-палаткой неуклюжее бегство морячков. У самого входа они столкнулись с группой местных парней, один из которых окликнул:

— Эй, служивые, закурить будет?

Курил только мичман. Он достал пачку «Космоса»:

— Бери.

— А две можно?

— Бери.

— А всю пачку?

Мичман хотел было сказать что-нибудь ершистое, флотское, но, взглянув на суровых товарищей, протянул пареньку всю пачку:

— Бери.

Паренек даже удивился.

— Спасибо. Как там в парке, биксы в наличии?

— В наличии.

— И каждой хочется. Ша мы им поможем. Устроим коллективное катание на креслицах.

— Слушай ты, — не выдержал Коля, — вали-ка ты отсюда.

— Грубо. Слышь, прапорщик, чего твой матросик такой грубый?

— Я не прапорщик, а мичман, а ты и в самом деле вали и кентов своих захвати.

— А то что?

— А вот что, — сказал Коля и саданул парню кулаком в нагловато усмехающийся глаз.

И заштормило. Коля бил быстро и зло, не чувствуя ответных ударов. Он — комсомольская гордость флота — дрался сейчас не за себя, а за всю базу, за свой корабль, за военно-морской флаг и главное — за подраненных птиц, беспомощно и восхищенно глядящих в небо угасающим взглядом. И дрался он не с курортными хулиганами, а с досадой на самого себя и своих комсомольских приятелей. Где-то завывала милицейская сирена, оповещающая ночной покой о долгожданной встрече с лучшими комсомольцами всего Черноморского флота. ■



МИХАИЛ СМИРНОВ

Родился в 1958 году в городе Салавате. Печатался в «Литературной газете», «Молодой гвардии», «Работнице», «Сибирских огнях», «Родной Кубани» и других СМИ. Лауреат ряда литературных премий. Живёт в Салавате.

НЕПРИКАЯННЫЙ

Облокотившись на небольшой столик, на котором стоял стакан и в нем позвякивала чайная ложка, а рядом лежала потрепанная книга, Виктор смотрел, как за окном вагона сплошной непрерывной картиной проплывали разнообразные пейзажи. Он возвращался домой, а душа осталась там, где были его друзья...

А до этого была несусветная жара, как некоторым казалось, но для него — эта самая жара стала привычной за годы службы, как и горы, что были вокруг. Потом госпиталь, в котором он провел долгое время. Теперь ехал домой и не отходил от окна, где до самого горизонта тянулись бескрайние степи, и все чаще мелькала зелень лесов, серебрились речки, на станциях поезд делал кратковременные остановки, и тогда в вагоне начиналась толкотня. Одни выходили, а другие торопились по проходу, чтобы занять свое место и, приткнув узлы или сумку на багажную полку, плюхались на свободные места и облегченно вздыхали, потом начинали знакомиться с соседями, рядом с которыми проведут не один день в пути.

Виктор возвращался домой в военной форме. Другие украшали форму, чтобы пофорсить перед родственниками и друзьями, а ему хотелось поскорее добраться до дома, стащить её и выбросить к едрене фене. Вот так прямо выйти на балкон, размахнуться и закинуть куда подальше, чтобы больше никогда её не видеть. Виктор мотнул головой. А вот получится ли не вспоминать службу в Афгане — он не знал, но нутром чувствовал, что этот Афган останется в нем до последнего его дня, хочет он этого или не хочет. Вроде небольшой срок службы — два года, а в то же время — это бесконечность...

Виктор снова вздохнул. Да, Афган не забудешь, И мысли о нем не выкинешь из головы, чтобы попытаться вернуться к нормальной жизни, как обычные люди живут, как сам жил до службы. Жить прежней жизнью и радоваться каждому дню, не думая, что будет завтра или послезавтра, что будет через мину-

ту-другую, потому что вся твоя жизнь была расписана на долгие годы вперед, но оказалось, что теперь смотришь на эту самую жизнь уже другим взглядом. Сам еще мальчишка, можно сказать, если сравнить со сверстниками, а в то же время, ты настолько далеко от них оторвался — это огромная пропасть, и получится ли перепрыгнуть или перебраться через эту самую пропасть, чтобы снова стать таким же, как они, стать наравне с ними и получится ли вернуться к прежней нормальной жизни — этого он не знал...

— Подъезжаем, скоро моя станция, — задумавшись, сказал Виктор, продолжая поглядывать в окно, а потом поднялся и с верхней полки стащил дорожную сумку с вещами. — Пора марафет наводить.

Он поставил сумку на свое место, где сидел, вжикнул замком и принялся в ней копаться.

Высокий кряжистый мужчина, похожий на борца-тяжеловеса, с приплюснутыми ушами, одно ухо было повреждено, как и его нос, словно в щеку впечатанный. Он отложил в сторону потрепанную книгу и с недоумением взглянул на попутчика.

— Говоришь, добрался до родного города? — он мельком оглянулся на окно. — И правда, скоро твоя остановка. Бывал в ваших краях, бывал. Красивые места, ничего не скажешь, — и тут же: — Слышь, Вить, а работу найдешь? Городок небольшой, насколько я знаю. Тем более, ты говорил, что у тебя вообще никакой гражданской специальности нет. Поэтому хотелось бы узнать, в городе останешься или куда-нибудь уедешь?

— Не знаю, — неопределенно пожал плечами Виктор. — Пока не задумывался. Просто вернусь домой, а время покажет, чем мне заняться. С братьями поговорю, с ребятами посоветуюсь, если кто-нибудь в городе остался. Глядишь, что-нибудь придумаю. А пока еще рано на эту тему разговоры разговаривать.

Сказал и опять принялся перебирать вещи в дорожной сумке.

— Я почему спрашиваю, — мужчина, похожий

на борца, кивнул крупной головой на короткой шее и неопределенно махнул рукой. — Пока ехали, у меня кое-какие соображения появились на твой счет. Виктор, если в своем городе не останешься, тогда ко мне приезжай. Я помогу с устройством на работу, сначала в общаге поживешь, а там глядишь, свою квартиру получишь. Надо же с чего-нибудь начинать. А начинать лучше с пустого места, с чистого листа, так сказать. Прошлое останется где-то позади, а у тебя будет новая жизнь, — он торопливо сунулся в карман, достал записную книжку, ручку, быстро написал, сложил вдвое и протянул. — Держи, Виктор. Здесь адрес записал и номера телефонов. Приезжай, если будет желание. Думаю, не пожалеешь...

Сказал и опять уткнулся в раскрытую книгу.

— Ладно, Петрович, если надумаю, приеду, — Виктор покрутил листок с адресом в руках, а потом сунул в документы, и снова повторил. — Время покажет, чем буду заниматься. Сначала себя нужно найти...

— Ладно, ищи себя, — не поднимая головы, сказал Петрович. — Если не найдешь, мне сообщи, я место подготовлю. У нас столько работы, что забудешь про дурные мысли — это я гарантирую. Думаю, всё будет хорошо, — и опять, не глядя, хлопнул по книжке. — Эх, занимательная книга, скажу вам. Ну не могу оторваться, и всё тут.

Сказал и притих, едва шевеля губами.

Мужичок, сидевший напротив Виктора, заелозил в нетерпении, дернул себя за жиденькую бороденку, следом пригладил волосы, повел плечами, словно поправляя пиджак. Было видно, он привык к другой одежде, нежели к пиджаку.

— Ты, Витяйка, не слушай Петровича, — чуть с хрипотцой сказал мужичок и снова повел плечами, словно хотел сбросить эту непривычную одежду. — Я вот что скажу тебе... Ты лучше к нам подавайся. Я и домик для тебя сторгую, и с начальством сговорюсь, чтобы в нашу артель определили. Моим напарником станешь. Сам подумай, Витяйка, где лучше живется — в городе или на природе. Вот и пошевели мозгами. На кой ляд тебе сдались эти каменные джунгли, а? Давай к нам и нечего рассусоливать. Такие про-

сторы, аж дух захватывает! Охота, рыбалка, тайга непроходимая, а воздух такой, что тебе и бражка не понадобится. С утра вышел на крыльцо, вдохнул поглубже и словно пьяный весь день ходишь. Да-да, не щерьтесь, мужики! А девки какие у нас — загляденье и только! Мы, Витяйка, для тебя любую красавицу сосватаем, только пальцем ткни. И свадьбу сыграем, и дом новый поставим. У нас девки здоровые, наделаете кучу ребяти, и живи, поживай да жизни радуйся. Я вот еду с вами, а мыслями давно уж в деревне. Скорее бы добраться. Сначала в баньке попарюсь, потом рюмашку-другую пропущу и на боковую. А с утра пораньше подниму сына, пора его приучать к делу, прихвачу снасти, ружьишко на всякий случай, припасов наберу, и подадимся в тайгу, только нас и видели в деревне. Не жизнь, а божья благодать!

Он причмокнул, зажмурился, расплывшись в улыбке, и закачал головой.

Соседи по купе хохотнули, взглянув на его довольное лицо.

— Ладно, дядь Вась, уговорил, — покосился Виктор и достал большой сверток из сумки. — Я подумаю, может, и правда плюну на этот город и подамся в тайгу. Природа — она лечит, а остальное калечит. Я к проводнице пойду. Костюм взял перед отъездом. Ни разу не надевал. В нем хочу домой приехать, а не в этой форме.

И Виктор повел плечом.

— И, правда, плюнь на свой город и приезжай, — мужичок запнулся, взглянув на пакет, потом перевел взгляд на Виктора. — Ну ты, Витька, как есть дурачок! Разве можно в простом костюме домой приезжать? Если б я на твоём месте появился в деревне в такой форме да еще с наградами, как у тебя и прошвырнулся по улице, все встречные-поперечные попадали бы, а про девок и говорить нечего, прямо так штабелями и валились бы направо и налево. Эх, гляньте, какой геройский жених возвернулся! А ты — дурень!

Сказал и сокрушенно махнул рукой и замотал головой.

Все засмеялись.

— Поэтому и не хочу, чтобы при виде меня на

землю падали, — сказал он, подхватил пакет и вышел из купе. — Я в гражданке уходил и в ней же вернусь.

И прикрыл за собой дверь.

Виктор неторопливо зашагал в конец вагона, где было служебное купе. Раннее утро. Некоторые пассажиры еще спали. Одни с головой укутались в тоненькие одеяла, а другие разметались во сне, скинув одеяло или прикрывшись краешком и заложив руки за голову, сопели на узкой вагонной полке. А некоторые пассажиры суетливо собирали вещи, готовясь выйти на той же станции, где и Виктор. Он шагал и искоса глядел на них. Ни одного знакомого лица. А может это к лучшему, что никто из знакомых не встретился. Столкнись с ними, он бы не знал, о чем говорить, честно сказать. Привет-привет! Дембельнулся? Да... Домой едешь? Да... Это же хорошо! Может быть... Скорее всего, таким был бы разговор при встрече. Виктор снова взглянул, как люди торопились к выходу, хотя еще ехать и ехать, а они бегут, словно опасаются опоздать. Он посторонился, когда мимо него протискивался мужик с большим узлом в руках, следом пропустил его спутницу — худую женщину с корзиной в руках, которая была плотно завязана старым серым платком. Пропустил, оглянулся, нет ли еще кого-нибудь, а потом постучал в служебное купе и, не дожидаясь ответа, открыл дверь. В купе, привалившись к стене, возле окна сидела молоденькая проводница с косметичкой и зеркальцем и наводила красоту. Скоро станция и нужно быть во всеоружии.

— Вижу, я не вовремя, да? — Виктор остановился в дверях. — К боевым действиям готовишься? — он кивнул на косметичку. — Скоро остановка...

— Что случилось, Витенька? — проводница взглянула на него и кокетливо повела плечиком. — Да какие действия? Сейчас старики едут. Молоденькие, как ты, к примеру, редко бывают. Да и те мимо проскакивают, и ни один не взглянет. Может, парни такие, а может, я как баба Яга.

Сказала и рассмеялась.

— Ну какая Яга, — криво усмехнулся Виктор. — Ты красивая, Тань. Встретишь еще своего парня, когда твое время придет, а на пустышек времени не трать.

— Скоро твоя остановка, Витенька, — проводница кивнула на окно. — Готовишься к выходу?

Она посмотрела на него и отложила в сторону косметичку.

— Как сказать... — он пожал плечами. — Да, готовлюсь. После госпиталя купил костюм и ни разу не вытащил. Как упаковали его, так и лежал до сегодняшнего дня. Погладить нужно. Хочу в нем домой прийти.

И покрутил в руках большой сверток.

— Ну ладно, помогу, — махнула рукой Татьяна и потянулась за свертком. — У мужиков руки неправильно растут. Не тем концом и не из того места вылезли наружу, — сказала и сама рассмеялась. — Порядок может быть только у женщины. Давай костюм, сейчас поглажу, — и, развернув бумагу, расправила костюм и зацокала языком, погладив материю: — Витька, костюмчик — загляденье! В таком нужно на приемы к большим людям ходить, а не по улице шляться. Слышь, Вить, а сколько капусты за него отвалил, если не секрет?

И проводница с любопытством посмотрела на Виктора.

— Капуста растет в огороде, — буркнул Виктор и взглянул исподлобья на нее. — Где тебя учили? Столько всего за дорогу услышал, уши в трубочку сворачиваются. Ты любого мужика за пояс заткнешь.

— Ну вот, снова читают морали, — недовольно сказала проводница, но тут же засмеялась. — Это жизнь такая — поездная, что приходится ругаться, иначе сожрут пассажиры. Вот и лаешься. Ну ладно, Витька, прости засранку. Не буду, ей-богу, не буду ругаться и применять ругательно-охальные слова.

— Поэтому замуж никто не берет, что ругаешься много, — снова зыркнул из-под бровей Виктор. — Мужика нужно лаской брать, а не матом.

— Поняла, Витька, — сказала Татьяна. — Буду брать ласковым матом.

И захохотала.

Виктор качнул головой. Они были почти ровесники, а он чувствовал себя стариком рядом с ней. Не дряхлым стариком, а старцем, который знает жизнь куда лучше, чем она, так вернее будет сказано.

Проводница сидела, поглаживая ткань рукой. Иногда вздергивала брови, удивленно посматривая на Виктора и снова едва касаясь, проводила рукой по костюму.

Виктор повернулся и молчком вышел из служебного купе.

— За всю дорогу ни разу не улыбнулся, — вслед донесся голос проводницы. — Видать, жизнь отучила улыбаться, пока в армии был...

Он вышел в тамбур. Встал возле двери, за которой проплывали леса и речки, поля и полустанки. Знакомые места, родные. Вроде недавно забрали в армию, а смотришь на пейзажи и удивляешься, как всё изменилось вокруг. Жизнь не стоит на месте. Всё течет и изменяется, а человек тем более.

Виктор прислонился лбом к стеклу, провожая взглядом узкую извилистую речушку, мелькнувшую в кустах. Следом переезд. А там густые заросли черемухи. Сюда еще в детстве приезжали с друзьями на велосипедах. Утром уходили из дома и пропадали на весь день. Ездили в такую даль купаться, хотя можно было на другую речку ехать, которая куда ближе протекала, но они все равно торопились сюда, особенно, когда созревала черемуха и тогда возвращались домой перепачканные и с темно-коричневыми языками. Вдоволь наелись этой черемухи. Виктор непроизвольно провел языком по губам. Казалось, до сих пор чувствует привкус этой черемухи.

Он стоял в тамбуре. Курил одну за другой сигареты. Смотрел в окно и в то же время думал. О чем? Да обо всем, но главное — а нужно ли ему возвращаться домой. Как он станет жить? Да, мать и братья ждут его. Наверное, скучали... И волновались. Наверное, волновались. Да, их можно было понять. А вернется, сможет ли жить прежней жизнью? Ведь ушел мальчишкой, можно сказать, а возвращается непонятно кем. Обличье парня, а душа пеплом покрыта, как покрыта сединой его голова. Молодой, а весь седой. Ушел пацаном, а вернется стариком. Молодой, а взгляд и мысли далеко не детские. И как жить? Да и поймут ли его родственники? Он уж не говорил про друзей. С ними-то как ему общаться? То, что раньше ему казалось интересным, сейчас он станет смотреть на это, как на детские забавы. И кто

в этом виноват? Он непроизвольно пожал плечами. Он не знал...

— Вить... Вить, ты слышишь? — раздался голос проводницы, и она дотронулась до него. — Зову его, а он застыл как вкопанный. О чем задумался? — взглянула на него, когда он повернулся и обеспокоенно сказала. — Опять сердце прихватило? Может, корвалол накапать?

— Нет, не нужно, — мотнул головой Виктор. — Задумался. Ты разгладила костюм? Ладно, давай, пойду к себе, переоденусь.

Сказал и направился к служебному купе.

— У меня переоденься, — вслед сказала Татьяна. — Что будешь таскать костюм по всему вагону. Иди, иди, переодевайся. Не стесняйся.

— Я уж забыл, что такое — стесняться, пока в госпитале валялся, — сказал Виктор. — Там ко всему привыкаешь.

Не закрывая дверь, он стал стаскивать с себя военную форму.

И проводница ойкнула, увидев шрамы на спине. Дотронулась. И отдернула руку. Снова прикоснулась. Хотела было погладить багровый рубец, но не смогла. Рука опустилась.

— Это там? — спросила она. — А чем?

— Да, там, — сказал Виктор, нахмурился и набросил рубашку. — Миной зацепило. Что говоришь? Как выжил... Вовремя в госпиталь доставили. Поэтому живой остался.

— И долго лечили? — не удержалась, снова сказала Татьяна, а потом хотела дотронуться и не смогла себя пересилить. — Глянуть страшно...

И она знобко передернула плечами.

— Да, долго провалялся, — с неохотой сказал Виктор, — а потом комиссовали. Я в таком виде стал ненужным для нашей армии.

Сказал и стал быстро застегивать рубашку.

— А если бы не списали, неужели снова пошел бы воевать? — не отставала Татьяна. — Тебя же могли...

И она замолчала, опасаясь сказать, что его могли убить.

— Да, я хотел остаться на сверхсрочную службу и, если бы не ранение, обратно бы вернулся, — кивнул головой Виктор. — Много моих друзей осталось.

Там другая жизнь. А что гражданка? Я отвык от нее. Здесь всё иное, — он обвел рукой окоем. — Вся эта жизнь для меня чужая, а может, я стал для нее чужаком, потому что не знаю, как вести себя в этой мирной жизни. Там было понятно, а здесь я потерялся...

Он снова обвел рукой и замолчал.

— Ничего, Витенька, время лечит, как говорится, — проводница постояла, не зная, что говорить, потом взглянула на часы и в окно. — Скоро остановка. Ты вернулся. Главное, что живым вернулся, а не... — она опять запнулась, а потом махнула рукой. — Всё, Вить, иди...

Сказала и принялась что-то искать в служебном купе.

Виктор вернулся в купе. Попутчики загалдели, увидев его в костюме, а Виктору казалось, словно одежда с чужого плеча — там коротко, тут жмет, а здесь бы вообще оторвал, чтобы не мешалось. За годы службы привык к военной форме, хотя частенько думал, что вернется и выбросит ее к едрене фене, так осточертела. А облачился в гражданский костюм, и показалось, что самая удобная для него одежда — это военная форма. И сейчас стоял, то и дело подергивая плечами...

— Всё, я заскочил за вещами и попрощаться, — сказал он, неловко поводя плечами. — Блин, огородным пугалом чувствую себя в этом костюме. Ладно, мужики, мне пора на выход... — потом помолчал и взглянул на Николая Петровича: — Слышь, Петрович, ты уж не обижайся, что я ночью учудил...

— Ох, здоровый ты бугай, Витька! — засмеялся Петрович и невольно потер шею. — До сих пор болит. А ты, Вить, если надумаешь, приезжай. Адрес есть. С работой и жильем помогу. На новом месте и жизнь с чистого листа начинается. Думай...

Виктор не успел ответить, как из динамиков донеслось невнятное бормотание.

— Поез... прибы... — захрипел динамик. — Стоян... ..ать мину...

— Ну все, мужики, я приехал, — сказал Виктор, попрощался с попутчиками и заторопился к выходу. — Счастливо добраться!

— Держись, Витька! — донеслось вслед. — А захочешь, приезжай...

Виктор стал пробиваться через толпу, пытаясь выбраться из вагона. Кто-то матерился, втаскивая за собой огромный узел. Ойкнула женщина. Видать, на ногу наступили, а может, чемоданом задели. В стороне заплакал ребенок. И тут же умолк от громкого окрика. За окном прошумел проходящий поезд. И опять донеслись крики...

Проводница стояла на ступеньке, держа в руках флажок.

— Провожающие, покиньте вагон, — пронзительно крикнула она. — Поезд трогается. И не толпитесь. Вы мешаете друг другу.

— Ну все, Татьяна, я приехал, — сказал Виктор, придерживая сумку и стал спускаться по лесенке. — Спасибо тебе! Хорошая ты проводница. Дорога легкая была. Ну, Татьяна, прощай...

Он спрыгнул на перрон и остановился. Помахал рукой. Следом громынул поезд, трогаясь с места, и потихонечку стал набирать скорость. А Виктор стоял, продолжая вслед смотреть уходящему поезду...

Все давно разошлись. Перрон опустел. Виктор остался один. Он поставил сумку на асфальт возле чугунной изгороди. Вдохнул полной грудью. Раннее утро, можно сказать, а в воздухе чувствуется горьковатый запах креозота, которым пропитывают шпалы. Он достал сигареты. Закурил. Со стороны товарной станции доносилось лязганье, короткие гудки, протяжный шум, где-то завывала сирена и тут же смолкла, а следом невнятный голос. Загавкала собака, перебегая пути, взвизгнула, когда рабочий, тащивший на плече обрезок трубы, рывкнул на нее и собака опрометью бросилась в сторону, но тут же остановилась возле куста, стала обнюхивать траву и задрала заднюю лапу, помечая территорию. Виктор усмехнулся, наблюдая за ней. Кому-то привет передала. А собака — эта лохматая чернявка, потрусила вдоль путей, редкий раз останавливаясь, поднимала голову и принюхивалась к запахам, которые принес ей ветер и, опустив голову, опять бежала по своим собачьим делам.

Виктор снова достал сигареты. Взглянул на разлапистые клены, что росли вдоль перрона, на здание вокзала, и прислушивался к звукам, что доносились издалека. Вот и вернулся в родной город. Он

стоял и словно не мог сдвинуться с места. Казалось, что с ушедшим поездом оборвалась нить, связывающая его с прошлой жизнью. И сразу защемило сердце. Он вздохнул, растирая грудь. Казалось, что он навсегда прощается со своими друзьями, которые остались там. Нет, это он оставил их одних, а сам уехал. И поэтому на душе было тяжело. И тяжело было сделать первый шаг, который оборвал бы последнюю нить, связывающую его с прошлым, а каким будет у него будущее — он не представлял...

Он докурив сигарету. Оглянулся. Заметив урну, бросил окурки в нее. Поднял сумку. Вздохнул, словно не решался, но всё же сделал шаг. Второй и третий. Остановился. Оглянулся вслед поезду, который уже давно ушел, а он в душе еще был там, даже был куда дальше — он находился рядом с друзьями, которые остались в Афгане. Он вернулся в родной город, а душа осталась с ними.

Виктор не спеша спустился по ступеням. Не стал обходить здание вокзала, а решил пройти через него. Распахнув тяжелую толстую дверь, он зашел внутрь. Казалось, ничего не изменилось с той поры, как он ушел в армию. Полы, покрытые сероватой плиткой. В несколько рядов скамейки из фанеры посреди большого зала, на которых лак еще сильнее обтерся, и еще больше стало всяких надписей, как авто-ручками, так и нацарапанные ножичками. В углу две кассы, возле которых было несколько человек, а другие с багажом сидели на лавках. Одни читали, а другие дремали. На улице утро, но уже стояла жара, а тут всегда было прохладно. Виктор оглянулся в сторону буфета. Оттуда доносился запах пирожков с капустой и дешевого кофе. Всё, как в той, в прошлой жизни, даже уборщица, протирающая полы старой шваброй, казалось, осталась та же — древняя сгорбленная старушка.

Виктор прошел мимо нее, стараясь не наступать на мокрые полы, и вышел на улицу. Остановился возле входа. Осмотрелся по сторонам. Ничего не изменилось за эти годы. Город остался прежним, зато он стал другим. Виктор нахмурился. Потом взглянул на утреннее небо, на яркое солнце и зажмурился. Мотнул головой. Казалось, вчера тут был, до такой степени всё осталось по-прежнему. Даже люди,

спешащие по своим делам, и те были вчерашними. Одни молчком торопились, упершись взглядом в тротуар, а другие шагали, рассказывая новости, и никто из них не взглянул на Виктора, а если и посмотрели, то так, невзначай, словно он всегда тут был, а не только что приехал.

Он еще раз осмотрелся. По дороге неслись машины. Отсюда было видно, как с автовокзала уезжали автобусы и тут же появлялись другие, из которых выходили пассажиры, а в салон уже торопились новые, занимая освободившиеся места. Дождавшись, когда машин стало поменьше, Виктор перебежал дорогу, направляясь к привокзальному парку. Старый парк, неухоженный. Весь зарос раскидистыми кленами и тополями, да густыми зарослями шиповника. Лишь старые узкие дорожки в выбоинах разделяли его на части. Виднелись старые фонарные столбы с разбитыми лампами, словно свечи торчали в небо. Этот заросший парк был любимым местом для всех местных алкашей, которые уже с самого раннего утра, а может быть с вечера не уходили. Где пили, там и уснули, а продрав глаза, тут же остались. Они собирались на старых ободранных скамейках с единственной целью, где бы взять деньги, чтобы похмелиться, приставая к редким прохожим, кто случайно забредал в запущенный парк. У них, этих алкашей, свой мирок, куда попасть легко, стоит лишь опуститься на дно жизни, а вырваться, чтобы вернуться к нормальной жизни, — трудно...

Отодвигая ветви, нависшие над дорожкой, Виктор направился в сторону перекрестка, сокращая дорогу до дома. За кустами мужские голоса, пьяные окрики и звон бутылок. Утро, а местная алкашня уже отмечает новый день или провожает старый — никто не знает, а они — тем более. Зашумели кусты и перед Виктором появился неопределенного возраста мужик. Испитое лицо, ободранная щека, растрепанные волосы и одежда, что взглянуть страшно. Он остановился на дорожке, не пропуская Виктора, и взглянул на него.

— О, здоров был, — дышал он перегаром и протянул грязную руку с обгрызенными ногтями. — Тебя сам Бог прислал. Слышь, друг, отстегни, сколько не жалко. Я вижу, ты при деньгах, — он посмотрел на ко-

стюм и большую сумку в руках Виктора. — Шланги горят, спасу нет. Выручи, друг! Не дай помереть, а?

— Не дам помереть, — взглянул исподлобья Виктор. — Сам сдохнешь. И деньги не отстегну. А вот тебя выстегнуть могу, что ни одна реанимация не примет. Пошел вон!

Виктор оттолкнул алкаша. И сам пошел дальше по дорожке, не слушая, как позади него раздается витиеватый мат.

Да уж, все осталось по-прежнему. Тот же парк и алкаши те же, а может уже другие за это время появились. Жаль, что время вспять не повернешь. Оно идет, не останавливаясь, как и сама жизнь.

Возле перекрестка Виктор приостановился, а потом стал переходить дорогу, не обращая внимания на возгласы водителей. Он направился к магазину, куда с малых лет бегали за продуктами. На другом конце магазина, где всегда продавали квас из бочки и мороженое, там, в теньке собирались старушки. Одни продавали лук и чеснок, другие соленья или варенье, третьи приносили на продажу вязаные носки или еще какую-нибудь мелочь, лишь бы заработать лишнюю копейчку, а может, просто приходили, чтобы пообщаться. И тут еще были цветы. Обязательно две-три старушки сидели с ведерками или бидончиками, в которых были цветы, и время от времени обрызгивали водой, чтобы они не завяли. Виктор замедлил шаги, присматриваясь. Так и есть... Возле стены сидели бабки, а рядом стояли цветы. Он не ошибся...

— Мне несколько цветочков, что получше, — сказал Виктор и принялся шарить в кармане, доставая деньги.

— А сколько — несколько? — сказала старушка, снизу вверх взглянув на него. — Не ведро же...

— У меня столько денег не наберется, — хмуро сказал Виктор. — Ну, штук десять что ли...

— На похороны собрался? — сказала старуха и принялась ловко выдергивать цветы из ведра. — Утро еще, а ты...

— Почему на похороны? — удивленно сказал Виктор. — Наоборот, я домой приехал. Вот, хотел для матери взять.

— О, девоньки, гляньте на него, — всплеснула ру-

ками старуха и затрясла рукой перед ним. — Разве для живого человека берут четное число цветочков, тем более для родной матери? Десять — это для покойников, а для живых нужно девять или одиннадцать. В общем, нечетное число брать. Сразу видно, в школе двоечником был или никогда цветы девушкам не дарил.

— Не дарил, — Виктор пожал плечами. — Времени не было, чтобы с девушками гулять.

— А где же тебя, милоч, носило, если на девок времени не нашлось, а? — с любопытством сказала старуха. — Молодой еще, гуляй да гуляй!

— В армии служил, — буркнул Виктор. — Вот вернулся...

— А где служил? — не унималась старуха. — Вот у меня сейчас внучок тоже служит. Осенью должен вернуться. Моряк! Фотографию прислал. Видным стал. В бескозырке стоит, в широченных штанах, и грудь колесом. А ты где был? Может, встречались с нашим-то, а?

— В Афгане, — опять буркнул Виктор и запсиховал. — Ты продашь цветы или будешь расспросами заниматься?

— Так вот в чем дело-то, а я голову ломаю, вроде молодой, а весь седой, — всплеснула руками старуха и принялась выбирать цветы. — Но ничего, главное, что живой вернулся, а мог бы и...

И она замолчала, прикрывая рот рукой.

Он забрал цветы, сунул деньги старухе, подхватил сумку и направился по дорожке в сторону дома.

По этой дорожке Виктор ходил в школу. С одной стороны — дома, а с другой — за высоким металлическим забором стоит школа. Там же огромный сад, где они каждый год работали. На переменах бегали за угол школы, чтобы быстренько покурить, а чтобы учителя не унюхали запах табака, они жевали яблоки. А яблоки до такой степени были кислыми, аж скулы сводило. Виктор не удержался, вспоминая яблоки, и сплюнул. И летом, когда яблоки поспевают, а в школе были каникулы, они частенько туда залазили через забор и отводили душу. Правда, с оглядкой срывали. Если сторож увидит, быстро пошнее получишь. С этим было строго! Но разве пацанов удержишь какими-то угрозами? И они продол-

жали лазить в сад, чтобы вволю наестся яблок...

Виктор невольно оглянулся на школьный сад. Казалось, сейчас донесется звонок и на улицу выбегут школьники. Он прислушался. Стояла тишина. Задумавшись, он дошел до своего двора. Два дома напротив друг друга. Возле каждого подъезда скамейки. В палисадниках небольшие клумбы и желтая акация. Посреди двора две песочницы для малышей, а в сторонке стол — это доминошники заняли. А зимой они перебираются в подвал. Тоже поставили стол, две скамейки и грохают костяшками весь вечер, пока чья-нибудь жена не спустится и не разгонит игроков. А если не прогнать, они до утра будут играть.

Виктор замедлил шаги, оглядывая двор. Некоторые окна нараспашку. Изредка доносились голоса, а там раздавалась музыка. Донесся смех, и зазвучала посуда. Видать, завтракают, хотя уже время завтрака давно прошло. Возле последнего подъезда уже кто-то сидел. Наверное, за молоком ходили. Цистерну с молоком привозят рано утром и все торопятся купить, пока оно свежее. Наверное, и эта старуха купила, а теперь сидит и отдыхает на скамейке. Сейчас поднимется домой, нальет в кружку свежего молока да с куском хлеба... Виктор не удержался, сглотнул и кадык ходуном заходил. Только заметил, что голоден. Пока на поезде добирался, урывками приходилось кушать. Там кусок, здесь пирожок или беляш, но в основном чаем питался, как смеялась проводница. Возьмет несколько стаканов и дует его. Деньги были, но есть не хотелось, а сейчас вспомнил про молоко, и в животе заурчало от голода.

Он прошел по двору. Хотел было присесть на скамейку и закурить, но распахнул дверь и зашел в подъезд. На улице утро, но уже стояла жара, а в подъезде прохладно. И сразу донеслись знакомые запахи и голоса. Вот снова тетка Марья ругает своего мужа, дядьку Егора. Хороший мужик, безобидный, но любитель в рюмку заглянуть. А выпьет, усядется на скамейку и играет с малышкой, или начнет сказки рассказывать. Ребятишки его любили, а тетка Марья разорялась, что позорит её. Странно как-то...

Он поднялся по лестнице. Привычно открыл почтовый ящик. Заглянул. Пусто. Почту всегда прино-

сили ближе к обеду, а сейчас еще утро. Он взглянул на свою дверь. Своя дверь, а как же еще назвать, если они переехали в эту квартиру, когда ему было лет семь и не больше. Все воспоминания связаны с квартирой и двором. С этим районом, где он вырос, откуда ушел в армию. Здесь прошла целая жизнь, можно сказать, и более двух лет из нее вычеркнуты, потому что это была другая жизнь — служба в армии и госпиталь, где его штопали, возвращая к жизни, где ставили на ноги, а ему не хотелось жить, можно и так сказать. И если бы не списали вчистую, он бы остался там, потому что там были его друзья, которые друг за друга горло бы перегрызли, а тут... Виктор вздохнул, прислушиваясь к звукам за дверью, а потом заколотил в дверь.

— Иду, что ломитесь, — донесся голос матери, и она снова сказала. — Утро на дворе, а уже кого-то черт принес. Того и гляди дверь с петель слетит.

Щелкнула задвижка, и дверь распахнулась.

— Ну, мамка, встречай — это я приехал! — сказал Виктор, шагнул в квартиру и облапил мать. — Я вернулся...

Он бросил сумку на пол, где лежал дешевый половичок, и снова затеребил мать.

Виктор стоял в прихожей, а вокруг были знакомые запахи, словно никуда не уезжал. Сегодня была суббота, и со стороны кухни пахло его любимыми пирожками с яблоками, а от матери, которую он продолжал держать в объятьях, едва уловимо пахло духами.

— Витенька... Витенька... — то и дело повторяла мать, пытаясь снизу заглянуть в лицо, и снова начинала плакать. — Вернулся... Живой вернулся... А я на кухне стряпаю, а ты приехал... А вчера дождь хлестал и град был. Сильный — страсть! Чуть окна в спальне не вылетели. Ты вернулся...

Она прыгала с пятого на десятое, отстранялась и снова прижималась к нему, а сама всё говорила и говорила...

— Всё, успокойся, — сказал Виктор, продолжая обнимать её. — Хватит слезы лить.

— А почему не писал? — она посмотрела на него. — Я каждый день почту проверяла, всё ждала, а в последнее время стала опасаться, что позвонят в

дверь, открою, а там из военкомата пришли, чтобы сказать, будто тебя...

И опять уткнулась ему в грудь.

Виктор вздохнул. Наверное, все матери вольно или невольно представляли себе, что их сыночек, их кровиночка погибла там, на этой проклятой войне. Хочешь этого или нет, но станешь думать. Все прошли через это, и его мать — тоже...

Он снова вздохнул. Потихонечку отстранил руки матери. Скинул обувь, прошел в зал и уселся на старенький диван, раскинув руки. Наконец-то он дома. Слишком долгим оказалось его возвращение. А получится ли вернуться к прежней жизни, сможет ли найти себя в этой жизни — он не знал...

— А ты почему не написал, что приедешь? — опять стала расспрашивать мать. — А почему ты хотел остаться там?

И снова вопрос за вопросом, и опять стала прыгать с пятого на десятое.

Виктор нахмурился. Не хотел отвечать. Знал, что мать не поймет, почему хотел остаться. Да и зачем её расстраивать? И так уже натерпелась, пока его не было. И снова начинать разговоры про службу — этого он уже сам не захотел. Он устал от войны. Устал, потому что она каждый раз напоминает о себе, если не наяву, так во сне приходит. И снова он начинал воевать...

— Всё, мать, я вернулся домой, — сказал Виктор, потом приподнялся и стал принахиваться. — Слышь, мамка, мое чутье подсказывает, если не побежишь на кухню, мы останемся без пирожков. Что смотришь на меня? У тебя пирожки подгорают! Беги!

Он ткнул пальцем в сторону кухни.

— Господи, ведь и правда, горят, — всплеснула мать руками и заторопилась на кухню. — Слышь, Витенька, скидывай одежду и иди искупайся. Ты же с дороги. Купайся, а я пока на стол приготовлю. Иди, иди, не сиди сиднем!

Она принялась командовать оттуда.

Виктор поднялся. Зашел в другую комнату. Быстренько скинул костюм, повесил его на стул и долго копался в шкафу, подбирая для себя одежду. Натянул трико, футболку и направился в ванную

комнату. Пустил горячую воду. Сразу запахло мочалкой и земляничным мылом. Обжигаясь, залез. И улегся. Покряхтел, привыкая к горячей воде, а затем притих. Казалось, с каждой минутой, с каждым мгновением из него уходит грязь, скопившаяся за долгую дорогу домой. Если бы чистая вода смывала все проблемы, тогда можно начинать новую жизнь. Виктор вздохнул, а потом попытался нырнуть с головой, как раньше делал. И хмыкнул, когда вода стала выплескиваться на пол. Тоже мне, младенец! Виктор мотнул головой. Вспомнил детство. И стал торопливо мыться.

Виктор вышел, набросив на себя рубашку, чтобы мать не заметила шрамы. Вытер лицо полотенцем, зашел на кухню и уселся возле окна.

— Эх, хорошо-то как! — сказал он, продолжая вытирать вспотевшее лицо. — Давненько так не купался. Ну, мать, откармливай меня. Частенько вспоминал твои пирожки.

И, не удержавшись, пододвинул к себе полную чашку с пирожками, схватил один и, обжигаясь, торопливо захрустел поджаренной корочкой. Прикрыв глаза, он закачал головой. У, как вкусно! Много пробовал всяких пирожков, но материнские были самые вкусные. Вообще, любая домашняя еда была самой вкусной. Даже обыкновенная вареная картошка, что готовить-то её, почистил, кинул в кастрюлю, посолил и сварил. Вроде все то же, но дома картошка получалась куда вкуснее, чем в какой-нибудь столовой. И сейчас он уминал пирожки, один еще не доел, а рука уже за другим тянулась, и эти пирожки были намного вкуснее любого ресторанного блюда.

— Ну что ты торопишься? — сказала мать. — Никто не отнимет. Ну, прямо, как в детстве, кто быстрее из вас съест.

— Не могу, мать, — пробубнил Виктор и снова потянулся за пирожком. — Я их даже во сне видел и вкус чувствовал. Проснусь, а во рту яблочный привкус.

— Детство вспоминаешь, а сам уж седым стал, — закачала головой мать. — Вроде мальчишка, а взгляд другим стал — настороженным, словно ждешь, что на тебя кто-нибудь бросится. Больше двух лет дома

не был, а вернулся, смотрю на тебя и не узнаю. Словно чужой человек сидит на твоём месте. Ушел мальчишкой, а по взгляду замечаю, что жестоким стал. Смотрю, и кажется, что сейчас вскочишь и куда-нибудь помчишься, и снова закрутит тебя судьба, завертит, а когда обратно вернешься — никто не знает, и я тоже...

Виктор молчал. Опустив голову, он сидел и слушал мать. А что он смог бы сказать. Ведь она правду говорила. И если бы не его ранение, еще неизвестно, где бы он сейчас был, куда судьба его занесла.

— Ладно, мать, прекращай, — Виктор нахмурился и положил недоеденный пирожок на тарелку. — Хватит, устал уже слушать. Я вернулся домой. И больше никогда не напоминай мне...

— Не перебивай, когда мать говорит, — тоже повысила голос мать. — Все твои дружки вернулись нормальными, а ты, как вижу, другим стал, а каким ты еще станешь — этого никто не знает, зато я догадываюсь.

— Догадываешься... — Виктор стал нервничать, того и гляди, сорвется. — Знаешь, мать, мы в Афгане не в бирюльки играли. И лучше не задевай эту тему. Там самим приходилось принимать решение, что делать, как сделать, потому что от этого зависела жизнь моих друзей, моя жизнь, если на то пошло. И мы, вчерашние пацаны, выполняли то, что взрослому мужику не под силу. А мы это делали...

Он сказал, нахмурился и, опустив голову, замолчал.

— А ты думал про нас? — не сдержалась мать. — Видишь, как заговорил. А что мы пережили, когда узнали, что в госпиталь попал, а потом вообще замолчал. Ни одного письма не получили. Ты мог бы и про нас подумать...

— Я всегда помнил про вас, — взглянул исподлобья Виктор. — Наверное, поэтому живым вернулся. И меня не нужно попрекать службой в армии. Я в Афган не просился. Нас туда направили. Я отдавал долг. А кому я должен был и за что, а главное — когда успел стать должником — даже сам не знаю, — он помолчал, о чем-то думая, потом снова взглянул: — Знаешь, мать, вижу, у нас разговор не получится. Рано еще. Время не подошло. И не нужно было этот

разговор затевать. Я не в игрушки играл. Поговорим, когда придет время. Ты смотришь на жизнь со своей колокольни, а у меня свой взгляд на эту самую жизнь. А сейчас... — он запнулся, нахмурившись. — А сейчас я пойду спать. Спасибо за пирожки. Отвел душу. Немного отдохну. Устал...

Виктор поднялся. Нахмурившись, прошел мимо матери. Взял сигареты и вышел на балкон. Курил, осматриваясь по сторонам. Всё, как было раньше, так и осталось. У Петровых весь балкон завален хламом. Наверное, сами не знают, что на балконе валяется. У Ахметовых ветром полощет мокрое белье. Видать, тетка Альфия опять постирушки устроила. А как не стирать, если у них детей семеро по лавкам, как говорится. Только и успевай стирать, да кормить эту ораву сорванцов. Он взглянул на березку. Подросла, пока его не было. Вот уже ветки до балкона достают. Он протянул руку и слегка погладил, словно поздоровался...

Виктор вернулся в квартиру. Молчком ушел в спальную. Не стал расстилать кровать. Сдвинул подушки и улегся на покрывало, отвернувшись к стене, и притих, задумавшись. Вернулся домой. Мать укоряла, что про них не вспоминал. Как же не помнил? Он скучал по ним. Мать и братья. Друзья, про которых тоже не забывал. Он сразу сказал, что никому не станет писать письма. Не любил. Кто захочет, тот может у матери поинтересоваться, как ему послужится. Правда, и домой редко писал. Наверное, по пальцам можно пересчитать все его письма. Да и времени не было. А потом друг его, Колька, погиб. На себя огонь вызвал, чтобы других спасти. Колька погиб, а он оставался в живых. Почему? Этого он не мог понять. Для чего жить, если самые близкие люди гибли на его глазах, умирали на руках, а он продолжал жить. Говорят, первыми уходят самые лучшие. Значит, он был плохим, если смерть не забирала его, а может, судьба распорядилась так, чтобы он остался в живых, но для чего — он не знал. Наверное, чтобы до последнего своего часа вспоминал погибших друзей и себя винил в их смерти...

Виктор поднялся. Постоял возле окна, а потом направился на кухню. Мать сутилась возле плиты. Гремела кастрюлей, что-то шкворчало на сковоро-

де, а на столе на разделочной дочке была нарезана луковица. Виктор открыл холодильник. Достал бутылку водки. Мать удивленно взглянула на него. Он налил в стакан. Выпил. И молчком пошел в спальню.

— Вить, что с тобой? — вслед донесся голос матери. — Ты стал пить?

— Нет, мать, не пью, — буркнул Виктор. — Просто в башке кутерьма началась. Опять армию вспомнил.

Сказал, закрыл за собой дверь и снова улегся на кровать.

Он долго лежал, прислушиваясь к тишине. Мать чем-то гремела, на улице раздавались шаги или разговоры, тренькал велосипед или пробегали ребятишки — это всё же была настоящая тишина, от которой он отвык за годы службы. И даже в госпитале не было вот этой самой тишины. Временное убежище, где немного побудешь, а потом тебя снова закружит судьба-судьбинушка, а куда забросит — никто не знает, и он не знал, но надеялся и готовился, что снова пошлют в Афган, но оказалось, что его списали вчистую и отправили домой. Всё, ты выполнил свой долг, а теперь можешь возвращаться домой, но никто не спросил, а как же ты станешь жить после всего этого, а, солдат? Никто!

— Колька, стой! — заметив, что дружок, стреляя на ходу, бросился перебежками к большому обломку скалы, что лежал возле дороги. — Стой, Колян! Не делай этого, мы пробьемся, — он опять закричал. — Вернись! Ты же...

Но Колька продолжал бежать к укрытию, на ходу обстреливая склон горы. Он отвлекал духов на себя. Две машины факелами полыхнули от прямых попаданий. Укрываясь за завесой черного дыма, рота стала отстреливаться, рассредоточиваясь за осколками каменных глыб, что были по краю обочины. Автоматные и пулеметные очереди, грохот и яркие всполохи от разрывов снарядов и мин, слились в один несмолкаемый гул. Выбрав момент, Виктор метнулся на помощь к другу, возле которого непрерывно взлетали фонтанчики каменных осколков от автоматных и пулеметных очередей. Колька мешал духам. Мешал, не давая прицельно бить по роте.

Виктор перебежками кинулся к нему. Осталось немного. Всего несколько коротких перебежек и он будет лежать рядом с дружком. Всего лишь немного осталось. Вот еще чуточку... И тут Витька увидел, как рядом с осколком скалы, за которым укрывался Колька, разорвался снаряд. И дружка своего увидел, подброшенного в воздух. Он был словно тряпичная кукла. Последнее, что успел заметить Виктор, как тело... даже не тело, а то, что осталось от друга, рухнуло на валун и медленно сползло на землю, оставляя на камне кровавые черно-красные следы. И почему-то бросилось в глаза, что кровь, смешиваясь с придорожной пылью, сразу становилась черной...

— Колька, Колян! — закричал Виктор, вскакивая и, поднявшись, принялся обстреливать склон горы, где находились душманы. Забился в руках автомат, а потом замолчал...

Виктор стал хлопать по бокам, пытаясь нащупать рожки.

— Рожки, где рожки, сука? — заорал он, а потом закрутился на месте, продолжая ощупывать себя руками. — Генка, гранатами их! Кидай, Гендос, рви духов! Что замолчал, а?

Он снова крутнулся на месте, опять закричал и тут увидел Генку Петрова с разорванным животом, который лежал неподалеку от него. Генка лежал на боку, прижимая ноги к животу, рука пыталась что-то нащупать среди пыли и крови, а потом Виктор увидел его тускнеющие глаза на сером закопченном лице в грязных разводах. Он смотрел на Витьку и что-то пытался сказать, едва шевеля синеющими губами. А потом затих...

— Суки, суки, суки! — Витька вновь и вновь повторял одно слово, а сам шарил в поисках оторванного «лифчика» с гранатами. — Где гранаты? Суки-и!...

И закричал: громко, протяжно — страшно.

— Витька, очнись! — кто-то крикнул над ухом, а потом принялись его трясти за плечи. — Тише, Витенька, тише!

Виктор рванулся в сторону, спросонья не понимая, где находится. Замотал головой, вскрикнул, опять рванувшись в сторону, и тут же оборвал крик, с недоумением посмотрев на мать. Видать, не мог

понять, откуда она взялась, а может, наоборот, не понял, где сам находится. И все продолжал трясти головой, протирая глаза, перед ним была мать, а он всё еще видел картины того боя...

— Ты дома, дома, — продолжала твердить мать. — Витька, успокойся. Господи, что же с тобой сделали, а? Когда же это закончится? Отец, вернувшись с войны, ночами воевал. Всё бойцов в атаку поднимал. И умер во сне. Думала, отмучилась, когда его не стало, а теперь еще и ты стал воевать. Видать, надолго тебя забрала война. Не скоро от нее избавишься. Да и вообще, избавишься ли? Так и будешь ночами воевать. Так и останешься неприкаянным. Господи, что же ты молчишь, а?

Она протянула руки в сторону иконы, а потом заплакала тихонечко и — больно.

— Мне никуда от этого не деться, — сказал Виктор. — Один и тот же сон вижу. Своих погибших друзей вижу во сне. Приходят ко мне. Вот так встанут и смотрят на меня, — он провел рукой перед собой. — И Кольку вижу, когда он погиб, а я не успел до него добежать. Немного не успел. И себя в этом виню, потому что всё могло быть по-другому, вовремя подоспей к нему. И каждую ночь бегу к нему, надеясь, что успею, но вижу взрыв и Кольку, который сползает по валуну и черную кровь, смешанную с пылью...

...Виктор зашел на кладбище и остановился возле ворот, оглядываясь по сторонам. Раньше избегал здесь бывать, а сейчас стоял и не знал, куда пойти. А потом всё же направился по центральной аллее, посматривая по сторонам. Здесь был город. Огромный город! Это царство мертвых. Все будут здесь, когда придет время. У каждого оно своё — это самое время. Он шагал, удивленно рассматривая улочки и переулки, даже целые кварталы, и повсюду виднелись могилы, могилы и могилы, где покоились как старики, так и молодые.

Он забыл спросить, где Кольку похоронили, и теперь бродил между могилами, внимательно всматриваясь в фотографии и надписи. За некоторыми могилами ухаживали. Росли цветы, кое-где была сирень или черемуха, а над некоторыми распустили

свои косы березки. Замечал низенькие некрашенные оградки, покосившиеся памятники, а были такие, что видно и ухаживать некому. Небольшой холмик земли и полусгнивший крест на нем или просто табличка, где едва видна была надпись. Возраст у могил разный, как и у людей, кого похоронили. И дети, и взрослые, и старики, и всех их собрала в одном месте она — смерть...

— Случаем, не солдатака разыскиваешь? — чуть в стороне раздался старческий надтреснутый голос. — Я давно заметила тебя. Ходишь как неприкаянный, смотришь, а где найти и сам не знаешь.

Виктор приостановился, заметив небольшую сгорбленную старушку возле низенькой оградки. «Опять неприкаянный», — мелькнуло в голове.

— Да, дружка ишу, а найти не получается, — сказал Виктор. — Сказали, что на этом кладбище похоронили, а где — забыл спросить. Вот и хожу, на каждую фотографию смотрю...

Виктор поправил сумку и снова принялся осматриваться.

— А я знаю, где он лежит, — сказала старушка и махнула рукой. — Его при мне схоронили. Я здесь часто бываю. К своему деду прихожу. Всё узнала за эти годы. А твой дружок вон там лежит, — она снова махнула рукой. — Как дойдешь до высокого памятника, поверни в сторону посадки, угловая могилка в третьем переулке, там твой дружок.

— Спасибо, — кивнул головой Виктор и направился по тропинке.

...Низкая проржавевшая ограда. Покосившийся небольшой памятник, на котором была фотография Кольки — выцветшая на солнце и исхлестанная дождями. Колька на ней совсем молоденький: вихрастый, улыбочивый и с вопрошающим взглядом.

— Ну привет, Колька! — поздоровался с ним Виктор. — Я вернулся. Живой и здоровый. Вот стою перед тобой, а ты лежишь. И услышишь ли меня, поймешь ли — не знаю... — Виктор пожал плечами. — И до сих пор не могу простить, что не успел до тебя добежать. Мы бы отбились. Тяжелый бой, но всё же мы смогли выйти. И ты бы вышел, если бы не бросился вперед, а теперь я живой, а ты лежишь в земле. Как же так, Колян? Как мне жить теперь, а?

Я же простить не могу себе, что не успел добежать, — Виктор долго молчал, опустив голову, потом снова сказал. — Ладно, Колян, сейчас порядок наведу, а потом поговорим, как раньше любили разговаривать. Подожди немного...

Наверное, если бы посторонний человек услышал этот разговор, подумал бы в лучшем случае, что пьяный говорит, ну а в худшем, что у него с головой неполадки. Но для Виктора его друг останется живым навсегда. Таким, каким помнил его, таким и останется в памяти...

Виктор отложил сумку в сторону и принялся голыми руками выдирать сорняки. Накидав кучу, подхватил её и утащил на свалку. Снова вернулся и еще уволок охапку сорной травы. Следом еще одну и еще... Пока не убрал весь мусор, как внутри ограды, так и снаружи. Потом присел и закурил, задумавшись...

— Сынок, возьми лопату, — донесся голос и Виктор увидел старуху, которая подошла к нему и приставила к ограде лопату с корявым черенком. — Что голыми руками работаешь? Лопаткой удобнее будет. Я потом заберу ее, как сделаешь. Мешать не стану. К своему старику пойду. С ним поговорю, а ты занимайся.

Сказала и неторопливо пошла по тропинке.

Виктор еще долго наводил порядок на могилке друга. Пока убрал мусор, ограду и памятник почистил, холмик подправил. А под конец поставил блюдце с печеньем и конфетами, свежей воды налил в стакан, цветы положил. Лишь после этого вытащил бутылку, что брал с собой, и разлил в стаканы. На один сверху положил кусочек хлеба и поставил возле памятника.

— Вот и все, Колька, — сказал он и поднял стакан. — Навел порядок. Теперь выпью за тебя, — он медленно выпил водку, поморщился и мотнул головой. — Светлая тебе память... Всё, Колян, я вернулся, — сказал Виктор, разговаривая с другом, как с живым. — Вернулся, но хотел остаться там. И не получилось. В засаду попали. Чуть более месяца оставалось до дембеля, когда на духов напоролись. Мало кто живым вышел из того боя. А мне спину разворотило. Миной накрыло. Врачи удивились,

что я живым остался, хотя должен уже тридцать три раза умереть, а я еще дышал. Спасли меня. Спасли, а зачем — не знаю. Выписали из госпиталя и списали в чистую. Никому не нужен, а нашей армии тем более. Домой отправили. А один молоденький врач посмеялся. Говорит, зачем тебе война, солдат? Зачем обратно рвешься? Вот вернешься домой и войю на здоровье. Так и получилось. Как в воду смотрел этот врач. Ночами воюю. Домой возвращался и в купе своему же соседу чуть шею не сломал. Он хотел разбудить меня, когда я стал воевать, а мне показалось, дух лезет ко мне. Я и того... В общем, еле смогли руки расцепить на его шее. Я спать боюсь. Пока ехал домой, каждую ночь уходил в тамбур и там просиживал до утра. И домой вернулся, опять стал воевать. Мать плакала. Неприкайным назвала. Говорит, в отца пошел. Тот тоже солдат в атаку поднимал. Так и умер во сне. Сердце остановилось. Это война его забрала, когда он в свою последнюю атаку пошел. Видать, и меня такая же участь ждет. Ну и ладно. Сам отмучаюсь и других отмучаю. Я устал так жить. Устал, Колька...

Виктор сидел, опустив голову. Редкий раз умолкал, словно о чем-то задумавшись, а может, вспоминал Афган и тот бой, когда погиб его дружок Колька или думал про жизнь. О прошлой жизни вспоминал и думал про будущую, а какой она будет — эта самая жизнь — никто не знает, и он — тоже. Он курил. Подолгу смотрел на фотографию друга и снова начинал о чем-нибудь рассказывать...

— Знаешь, Колька, я отвык от нормальной жизни, — снова заговорил Виктор. — Люди улыбаются, а у меня душа болит. Они смеются, а я разучился, можно сказать. Вчера братья приходили в гости. Посидели за столом. Выпили. Они разговаривают, а в моей голове пустота. Видно, что хотели развеселить меня, отвлечь от этих дурных мыслей, а не получается. Они живут своей жизнью, а какой будет моя — не представляю...

— Не успел домой заявиться, вижу, мать расстраивается из-за меня, — продолжал говорить Виктор. — А что я могу поделать? Глаза закрою, вы стоите передо мной. Стоите и смотрите на меня, но ни слова не говорите. Да и вообще... О чем-нибудь задум

маюсь и замечаю — все мысли к вам возвращаются. Вот и получается, что мое тело здесь, а душа с вами осталась. Устал так жить, Колька. Одни воспоминания в голову лезут. Я устал...

Он повторил и снова опустил голову.

Виктор не заметил, как подошла к нему старушка. Присела рядом с ним. Прижала его голову к себе и принялась что-то говорить, словно успокаивала его. И неожиданно для себя, Виктор стал рассказывать ей — этой незнакомой старухе обо всем. О том, как они служили, как погиб его лучший друг, как гибли ребята, он рассказывал про Афган и ту жизнь, о которой мало знают, а он прошел через нее и вернулся. Пусть израненным, но вернулся, а Колька погиб, и как жить после этого — он не знал, потому что отвык и не понимал эту сегодняшнюю жизнь, где всё было по-другому, можно сказать, чем там, в Афгане, где прекрасно знаешь, где друг, а где находится враг. А тут... И опять начинал рассказывать...

— Ты говори, сынок, говори, — тихо нашептывала старуха. — Тебе нужно выговориться, и тогда тяжелый груз спадет с твоей души, уйдет тоска и горечь. Поверь мне, старухе. Я видела жизнь. Знаю...

И Виктор продолжал ей рассказывать. Уж в который раз говорил про своего друга, про ребят, о своей жизни неустроенной, о будущем, которого, как ему казалось, у него не будет. Говорил обо всем, и ему становилось легче, словно со словами уходила печаль, и исчезал тяжелый груз, что лежал эти годы на его душе. А вскоре он замолчал. Сидел и молчал, прислушиваясь к своей душе, словно хотел внутрь заглянуть...

— Полегчало? — сказала старуха.

Виктор ничего не сказал, лишь неопределенно пожал плечами.

— Ты, сынок, сюда приходи, если на душе будет тошно, — сказала старуха. — Посидишь, с дружкой поговоришь. Душу ему откроешь. Не держи в себе ничего, не нужно это копить, слишком тяжелый груз получается. Лучше выплесни эту горечь. И сразу заметишь, что тебе станет полегче. Боль и страдания уйдут, какие в душе носишь. Слишком много горя в себе держишь. Вот сейчас из тебя всего лишь маленькая частичка ушла, а нужно, чтобы всё исчез-

ло. И уйдет, поверь мне. Время уходит, а вместе с ним беда-горе исчезает. Зима заканчивается — весна наступает. Так и у тебя в душе будет. Начнет холод исчезать, и сердце твое оттаяет. На душе станет теплее. Я знаю это. Поверь мне, старухе. Многого повидала в жизни, — и опять сказала. — Ты приходи сюда, если на душе тошно. Приходи. Я каждый день бываю. Вместе посидим. Своих повспоминаем. Я про своего старика расскажу. Тяжелая судьба у него была, очень тяжелая. А ты про дружков расскажешь. Посидим, о жизни поговорим. Глядишь, на душе полегчает. Приходи...

— Хорошо, — сказал Виктор. — Время покажет...

Он взял сумку. Постоял возле могилки. Взглянул на фотографию друга. Хотел было что-то сказать, но промолчал. Повернулся и зашагал в сторону ворот.

Виктору не хотелось идти пешком. Он покрутил головой, а потом подошел к большому бревну, что лежало на обочине дороги, неведь откуда взявшемуся в этом месте, присел на него. Было заметно, что бревно это используют как лавку. Слой окурков и шелухи от семечек под ногами. Поблескивают пивные и водочные пробки, обрывки газет и пакетов. Да много всякого мусора собралось возле бревна. Видать, не первый год здесь валяется. И Виктор тоже уселся на него, достал сигареты, закурил, и опять закрутились мысли в голове. Разные мысли крутятся и ни одной путной, которая подсказала бы, как ему жить дальше. Он понимал, что к прежней жизни уже не вернуться, а начинать новую, словно с чистого листа, как сказал попутчик в купе, — это, конечно, можно, а получится ли у него жить по-новому — он не знал...

И в тайгу можно было податься. Его же приглашал другой попутчик. И свой адрес оставил. Сказал, что тайга вылечивает все болезни, а душу тем более лечит. Виктор вздохнул. А может, и правда махнуть на всё рукой и умотать к охотнику. Стать его напарником и уйти вместе в тайгу. Месяцами жить там, где кроме зверья и птиц, никого больше не встретишь. Одиночество в природе и жизнь по законам природы — это лучший лекарь. Он знал об этом. Еще в начале службы, когда они попали в Афган, прапор рассказывал про какого-то солдата. С ним тоже что-

то произошло, и он не мог найти себя в этой жизни. Даже в тюрьму попал. Он не был бандитом, но получилось так, что переступил порог, а таких, как он, оказывается, немало. И этот парень, отсидев срок, умотал на край земли. Завербовался в экспедицию и ушел в тайгу, а потом и вовсе остался. И тогда он признался, что именно там, в этой самой тайге, он нашел себя и свое место в жизни. Да, тому парню повезло, и он нашел себя. Виктор снова вздохнул. А сможет ли он найти себя в этой самой жизни, которая была раньше легкой и понятной, а теперь он потерялся в ней, и сможет ли выбраться на правильную дорогу, получится ли остановиться и обрести покой — Виктор не знал...

— Эй, солдат, очнись, — донесся окрик, и заскрипели тормоза. — Уснул, что ли, ожидаючи попутку? Куда собрался? Айда, запрыгивай. Вмиг домчу!

Шофер молоденький. Видать, недавно за рулем, но форсу не занимать, как говорят. Папироска прилипла к краю губы, прищуренный взгляд из-под надвинутой кепки на глаза и уверенные движения. Мол, гляди, как ежжу. И мчался, только пыль завихрялась. С такими хорошо было служить. Виктор знал это. Ни бога, ни черта, ни душманского огня не боялись. Из-под обстрелов выводили машины, такие виражи закладывали, что диву давались, как не перевернулись, как в живых остались, а шоферу хоть бы хны. Пока за рулем — его не тронь, он словно слился с машиной, сросся, понимая каждое движение, каждый камушек на дороге чувствовал, а потом, когда они уже выбирались из заварухи, шофер лишь посмеивался над ними, а у самого на испачканном лице дорожки от пота...

Замелькали улицы на окраине города. Шофер не стал въезжать в него, а по окружной доехал до автовокзала и притормозил.

— Всё, доставил в целости и сохранности, — ощерился он, и казалось, сейчас упадет папироска, прилипшая к губе, но всё же удержалась, лишь дымок вился над лицом. — Будь здоров, земля!

И впервые за дорогу не улыбнулся, а прищурившись, оценивающе посмотрел на орден и медаль.

— Там был? — сказал шофер и кивнул головой.

— Да, был, — буркнул Виктор. Он не любил, когда

начинали об этом расспрашивать. — Вчера вернулся.

— И я был, но всего полгода, а после ранения списали, — взгляд стал жестким, лицо словно судорогой свело, а потом опять зыркнул из-под козырька. — Ты вернулся, а душа там осталась, как заметил. Вот и у меня такая же история, сам здесь, а мыслями со своими друзьями. Ну, бывай, земля! Может, еще свидимся, если вернемся в эту жизнь...

И резко газанув, он сорвался с места.

Так вот почему Виктору показалось, что такие ребята там встречаются. И не показалось, он и правда был в Афгане. Вернулся, а душа осталась там...

Виктор дождался, когда машин стало поменьше, и перешел дорогу. Не перебежал, а перешел. Некоторые машины гудели, а другие приостанавливались, заметив его форму. Виктор подошел к калитке. Она приоткрыта. Видно было, как из церкви вышла старуха. Повернулась лицом, перекрестилась и засеменила на улицу. Виктор смотрел на церковь, но не решался войти. Он еще ни разу не был в церкви. Раньше посмеивался над этим, а сейчас... А сейчас он сам не понимал, что происходит с ним, как вернуть покой душе, что нужно сделать, лишь бы себя найти в этой жизни, а пока он неприкаянный, как сказала старуха на кладбище. Мечется его душа, покоя не дает, друзей вспоминает и Кольку, своего лучшего друга, и сравнивает эту жизнь и ту, через которую они прошли, а получится ли вернуться в сегодняшнюю жизнь — он не знал, и его мятущаяся душа — тоже...

За спиной шумели машины, со стороны автовокзала тоже доносился шум. Автобусы подъезжали и уезжали, люди садились в них или выходили и на перроне постоянное столпотворение — одни уезжают, другие приезжают. А потом начинают потихонечку рассасываться с вокзала. Кто-то снова садится в автобус, а другие спешат на трамвай, который проходил тут же, в сотне метров от вокзала, а чуть дальше был городской рынок, и в обе стороны от вокзала постоянно текла человеческая река. А Виктор всё еще стоял возле калитки. Смотрел на двери, на прихожан, которые входили и выходили из церкви, мимо него шли, вопрошающе поглядывая, а некоторые не выдерживали и

что-то спрашивали у него, но Виктор не отвечал, словно не слышал...

Вздрогнул, услышав за спиной резкий сигнал. Оглянувшись, с недоумением взглянув на машину, которая остановилась возле церкви. Крепкий мужик распахнул дверцу машины, протянул руки и достал худенькую девчущку в светлом платье и белом платке на голове и, не оглядываясь, направился в церковь, а за ним, тоже в платке, заторопилась женщина. Видать, супруга. Скорее всего, дочка заболела, и её специально привезли сюда.

Виктор видел, как они привычно перекрестились, видать, не впервые здесь, а потом скрылись в церкви. Он снова оглянувшись, словно решая, что ему делать, остаться или уйти отсюда, но всё же шагнул на ступеньку, на другую и третью и зашел в церковь. Прищурился в полутьме. Растерянно оглянувшись, не зная, что он должен сделать. Мать сказала, а он забыл и поэтому растерялся.

— Вы просто посмотреть зашли или дело какое есть? — чуть сбоку прошепел тихий голос, и Виктор, оглянувшись, заметил совсем еще не старую женщину. — Я давно уже заметила, что стоите, а не проходите. Но наконец-то решились. И правильно сделали! Рано или поздно, но многие придут сюда, но не каждый захочет нести крест свой, зато каждый ответит по делам своим. Вижу, душа болит. Бродите неприкаянным. Много вопросов, а ответы не можете найти. Посидите, в свою душу загляните и подумайте обо всем...

Сказала и замолчала, продолжая на него смотреть. А взгляд светлый и чистый.

Виктор снова вздрогнул. Показалось, не он, а эта женщина в его душу посмотрела. Мысли его прочитала. Поняла, что душа болит, а выхода не видит он, потому что не знает, как ему жить теперь с этой ношей, с этим грузом, который уж сколько времени камнем к земле давит, не давая разогнуться...

— Да я... — Виктор запнулся и снова оглянувшись на стены, на темные иконы и отовсюду на него смотрели святые. — Это... Мне бы свечки купить. За упокой поставить. Вот не знаю...

И опять растерянно стал осматриваться.

— Здесь возьмите, — женщина кивнула на киоск.

— А там поставите. И не уходите. Посидите на лавке, пока свечи горят. Повспоминайте всех, кого с вами нет, поговорите с ними. Пусть не сразу, но всё же почувствуете облегчение.

Сказала, что-то прошептала, взглянув на икону, перекрестилась и незаметно исчезла, словно и не было её рядом с ним.

Виктор поставил свечи. Подождал, глядя на огоньки, потом присел на лавку и задумался...

Здесь стояла тишина. Никто не мешал. Он сидел, склонившись, взгляд в пол, редкий раз поднимал голову, если доносилось едва слышное шарканье ног какой-либо старушки да, когда открывалась дверь, с улицы доносился звук проезжающих машин. Дверь захлопывалась, и снова наступала тишина. Повсюду на стенах иконы. Разные. Большие и маленькие. И со всех, как казалось Виктору, на него смотрели святые, словно о чем-то вопрошая. Виктор сидел, глядел на иконы, переводил взгляд на огоньки тоненьких свечек, снова прислушивался к шагам, но в то же время он старался заглянуть в свою душу...

Он сидел и думал о матери и братьях, о друге своем, Кольке, и погибших ребятах. Он живой, а они уже никогда не постареют. Жизни не видели, вкуса еще не почувствовали этой самой жизни, а их уже нет, лишь память осталась и боль в душе. Боль, которую ничем не унять. И будет она сопровождать его всю жизнь, до последнего дня будет напоминать о себе и погибших друзьях. И от нее никуда не деться...

Виктор поднял голову. Кто-то подошел и о чем-то спросил, а он не ответил, словно никого не видел, а может, и правда не заметил. Он был в церкви, но в то же время мыслями был далеко. Он сидел и уж в который раз перебирал свою жизнь. Всяко ее рассматривал. По полочкам раскладывал. Сюда плохое, а здесь хорошее лежит. Что-то полки небольшие. Хотя и плохого многовато набралось, потому что грехи тяжкие на нем, а хорошего мало в жизни сделано. А если разобраться, откуда возьмется хорошее, если и жизни-то не видел. В армию забрали после школы. Планы были грандиозные, но которым не удалось сбыться. Хотели с дружкой, с Колькой, в столицу податься, чтобы поступить в институт,

отучиться и стать геологами, и тогда бы открылись перед ними необозримые просторы нашей родины, по которым они будут ходить, и искать полезные ископаемые. Да, о многом мечтали, но эти мечты рухнули в одно мгновение, когда получили повестки из военкомата, и никто не ожидал, даже они сами, что уйдут в Афган выполнять интернациональный долг. Да, они его сполна выполнили, даже с лихвой. Пальцев не хватит, чтобы пересчитать всех погибших друзей, всех, кто стал инвалидом, а искалеченных душ столько, что со счета собьешься. Искалеченные души ребят, вчерашних пацанов, которых учили убивать, чтобы выжить самим. И они убивали. И возвращались домой. Но никто не задумался, а как они будут жить с тяжким грузом на душе, что с ними станет — с этими вчерашними мальчишками...

Виктор продолжал сидеть. Он уж пожалел, что сразу отправился к Колькиным родителям. Не нужно было это делать. А он пришел, да еще в форме. И Колькиной матери опять стало плохо. Скорую пришлось вызывать. С собой забрали. Сердце слабое. Они уехали, а отец даже не проснулся. Пьяный. Колькина сестренка рассказала, что после его смерти мать разболелась. Так и живет от больницы до больницы, а отец запил. Не просыхает, как она выразилась. А у самой взгляд серьезный. Ей бы в куклы играть, да с подружками по улицам гулять, а она с родителями нянчится. Её детство закончилось со смертью брата, и сможет ли она вернуться в свое детство — это уже навряд ли...

И опять эти думы, думы и думы... О чем бы ни думал, а все возвращался туда, где были его друзья. Правда, там знаешь, кто друг, а где враг. А сюда вернулся и растерялся. В душе надеялся, что всё останется по-прежнему. Он вернется, словно после долгой разлуки, и всё на этом. Мать и братья, друзья и девчонки. Не успеет оглянуться, как жизнь войдет в привычное русло, и снова всё станет по-старому, но уже в госпитале оказалось, что прежней жизни уже не будет. Вычеркнули её. Жирно! Вот так взяли и провели по ней, оставляя зазубрины и рваные раны. Крест-на-крест перечеркнули и точку огромную поставили. Всё, солдат, можешь напрочь забыть о своей прошлой мирной жизни, а вот будет ли у него

другая, нормальная жизнь — этого никто не обещал. Ты же солдат. Держись, не сдавайся! Ты такое повидал, что другим не снилось. Да, правда, другим не снилось, а к нему каждый день во сне приходят погибшие друзья. Придут и стоят, смотрят на него. И хоть бы один слово сказал. Нет, молчком смотрят. Словно укоряют, что он в живых остался, а может, что-то хотят спросить... И Колька ночами приходит. Тоже смотрит. Молчит. И опять та же картина боя, когда Колька, словно тряпичная кукла съехал по валуну, оставляя кровавые следы. И его кровь, смешиваясь с пылью, становилась черной. И как жить с этим? Виктор не знал...

Виктор сидел и смотрел под ноги, продолжая думать. Свечи уж давно погасли. Одни огарыши виднелись. Кто-то подходил к нему, пытался заговорить, но Виктор молчал. А потом поднялся. Подошел к иконе, долго смотрел на темный лик святого. О чем-то шептал. Может, разговаривал с ним, рассказывая о жизни непутевой, а может, о чем-то спрашивал или прощения просил. И опять замолчал. Стоял и смотрел на икону. А потом вышел на улицу. Поставил на крыльце и пошел. Он шагал, и снова крутились мысли в голове, а получится ли вернуться к прошлой жизни, сможет ли стать прежним, каким раньше был. Старушка на кладбище говорила, что уйдет зима из души и весна наступит, уйдет холод и сердце оттаяет и на душе теплее станет. Но для этого нужно время, а пока он так и будет ходить неприкаянным, потому что на его душе груз тяжелый лежит, а когда он скинет эту неподъемную ношу — никто не может сказать, а он — тем более... ■

*Полный вариант читайте
на сайте журнала rkuban.ru*

Жара! Пышут бешеной страстью цветы.
Стоят, не шелохнутся пальмы.
Я льдину держу над бачком воды –
Сквозь лед увеличены пальцы.

На брызжущий свет поднимаю ее,
Какая прозрачная льдина!
Такая прозрачная –
Россию со ставнями видно.

Где лодка царапает темное дно,
Я цаплю челбасскую слышу.
И тряпкою мать протирает окно –
Она меня видит. Я вижу!

ПОЭЗИЯ





ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

(1941 – 2003)

Единственный гениальный писатель, родившийся на Кубани в XX веке. Его творчество в представлении не нуждается. Однако строки из стихотворения «Посещение Кубани» (2000) не утратили своей актуальности до сих пор:

*Пускай Кубани на меня
Плевать... Зато какие брызги!*

«Я ЗОВУ В СОБЕСЕДНИКИ ВРЕМЯ...»

ПУСКАЙ ОСТАНЕТСЯ ВО МНЕ

*Пуškai останется во мне
Избыток вдумчивого детства.
О! Как приятно в тишине,
Совсем не думая о сне,
Перебирать свое наследство.
И хоть прошло немного лет,
Но вспоминаешь: «Вот когда-то...
Когда еще кутил сосед,
Когда был крепок старый дед,
Когда была новее хата.
Когда...» От этого «когда»
Скрипят тесовые ступени,
Под ветром стонут провода.
Горит, горит моя звезда,
И от друзей ложатся тени.*

1955

ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК

*Он возвращался с собственных поминок
В туман и снег, без шапки и пальто,
И бормотал: — Повсюду глум и рынок.
Я проиграл со смертью поединок.
Да, я ничто, но русское ничто.*

*Глухие услышали человека,
Слепые увидели человека,
Бредущего без шапки и пальто;
Немые закричали: — Эй, калека!
А что такое русское ничто?*

*— Всё продано, — он бормотал с презрением, —
Не только моя шапка и пальто.*

*Я ухожу. С моим исчезновеньем
Мир рухнет в ад и станет приведеньем —
Вот что такое русское ничто.*

*Глухие человека не слышали,
Слепые человека не видали,
Немые человека замолчали,
Зато все остальные закричали:
— Так что ж ты медлишь, русское ничто?!*

1994

НА РЕКЕ

*Желтеет за нахохленную станцией
Далёкими кувшинками река.
И, уплывая в длительное странствие,
Цепляются за звёзды облака.*

*Уходит деревень размытый облик —
В туманах жизни зёрнышко судьбы.
А в речке заблудившееся облако
Встаёт перед баркасом на дыбы.*

*Я снова здесь под маревами древними
О родине негромко говорю.
И снова за прибрежными деревьями
Выщипывает лошадь тень свою.*

*Под утро станет звякать каплей с ветки
О патронташи тракторных следов.
И я поставлю на окно соседке
Сырое пламя сорванных цветов.*

1958

ЗИМНЯЯ ГРУША

*Я видел на ветке последнюю грушу,
Желтела она за версту.
Но вырвала буря и древо, и душу...
Я грушу поймал на лету.*

*А буря промчалась. А груша не знает,
Что нет ни ствола, ни корней,
И в теплой руке все еще дозревает...
О, груша отчизны моей!*

1998

*Надо мною дымится
пробитое пулями солнце
Смотрит с фото отец,
измотанный долгой бессонницей,
Поседевший без старости,
в обожженной измятой каске.
Он оставил мне Родину
и зачитанных писем связку.
Я не помню отца,
я его вспоминать не умею.
Только снится мне фронт
и в горелых ромашках траншеи
Только небо черно,
и луну исцарапали ветки.
И в назначенный час
не вернулся отец из разведки...
Мне в наследство достался
неувиденный взгляд усталый
На почти не хрустящей
фотокарточке старой.
За рекою в степи
как отцовские раны,
Молодые закаты горят
освящая курганы.*

1959

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

*О, Родина! Как это странно,
Что в Александровском саду
Его могила безымянна
И – у народа на виду.*

*Из Александровского сада
Он выползает на твой свет.
Как хвост победного парада,
Влачит он свой кровавый след.*

*Во глубине тысячелетней
Владимир-Солнышко встаёт,
И знаменосец твой последний
По Красной площади ползёт.*

*Его глаза полны туману
А под локтями синий дым.
Заткнул свою сквозную рану
Он бывшим знаменем твоим.*

*Его слова подобны бреду
И осыпают прах земной:
«За мной враги идут по следу,
Они убьют тебя со мной.*

*О, Родина! С какой тоскою
Кричит поруганная честь!
Добей меня своей рукою.
Я криком выдаю: ты здесь.*

*Немилосердное решение
Прими за совесть и за страх.
У Божьей Матери прощенье
Я отмолю на небесах...»*

*Судьба на подвиг не готова.
Слова уходят в пустоту.
И возвращается он снова
Под безымянную плиту.*

1998

*Жара! Пышут бешеной страстью цветы.
Стоят, не шелохнутся пальмы.
Я льдину держу над бачком воды —
Сквозь лед увеличены пальцы.*

*На брызжащий свет поднимаю ее,
Какая прозрачная льдина!
Такая прозрачная —
Россию со ставнями видно.*

*Где лодка царапает темное дно,
Я цаплю челбасскую слышу.
И тряпкою мать протирает окно —
Она меня видит. Я вижу!*

1966

КУБАНКА

*Клубится пыль через долину.
Скачи, скачи, мой верный конь.
Я разгоню тоску-кручину,
Летя из полымя в огонь.*

*Гроза гремела спозаранку.
А пули били наповал.
Я обронил свою кубанку,
Когда Кубань переплывал.*

*Не жаль кубанки знаменитой,
Не жаль подкладки голубой,
А жаль молитвы, в ней зашитой
Рукою матери родной.*

*Кубань кубанку заломила,
Через подкладку протекла,
Нашла молитву и размыла,
И в сине море повлекла.*

*Не жаль кубанки знаменитой,
Не жаль подкладки голубой,
А жаль молитвы позабытой,
Молитвы родины святой.*

*Клубится пыль через долину.
Скачи, скачи, мой верный конь.
Я разгоню тоску-кручину,
Летя из полымя в огонь.*

1996

ПОСЕЩЕНИЕ КУБАНИ

*Меня по миру вихрь носил,
И поздно любви я хватился
И горьким плачем огласил
Ту землю, где на свет родился.*

*Меня отсюда на руках
Мать унесла перед войною.
И я впервые на свой страх
Ступил на родину ногою.*

*В степи стоял казацкий свист,
В нем раздавались бабьи нотки.
Какой-то местный журналист
Распил со мной бутылку водки.*

*Старуха около прошла,
И человек сказал под мухой:
— Перед войной она была
У нас в станице повитухой.*

*Ему я паспорт показал
И место моего рожденья.
Но этот знак не оказал
На человека впечатленья.*

*Меня казацкая душа
За своего не признавала,
И мимо даже та прошла,
Что пуповину завязала.*

*И я загнул такую статью:
— Эх вы, живущие без вести!
Мне будет памятник стоять
Вот здесь! На этом самом месте!*

*Бутылку оземь я разбил,
Да так, что недра задрожали.
Кубань родную разлюбил,
Да так, что бабы завизжали.*

*Ушел я, голову склоня
Под мелодические визги.
Пускай Кубани на меня
Плевать... Зато какие брызги!*

2000

*Звякнет лодка оборванной цепью,
Вспыхнет яблоко в тихом саду,
Вздрогнет сон мой, как старая цапля
В нелюдимо застывшем пруду.*

*Сколько можно молчать! Может, хватит?
Я хотел бы туда повернуть,
Где стоит твоё белое платье,
Как вода по высокую грудь.*

*Я хвачусь среди замершей ночи
Старой дружбы, сознания и сил
И любви, раздувающей ноздри,
У которой бессмертья просил.*

*С ненавидящей тяжкой любовью
Я гляжу, обернувшись назад.
Защищаешься слабой ладонью:
— Не целуй. Мои губы болят.*

*Что ж, прощай! Мы в толпе затерялись.
Снилось мне, только сны не сбылись.
Телефоны мои надорвались.
Почтальоны вчистую спились.*

*Я вчера пил весь день за здоровье,
За румяные щёки любви.
На кого опустились в дороге
Перелётные руки твои?*

*Что за жизнь — не пойму и не знаю.
И гадаю, что будет потом.
Где ты, Господи... Я погибаю
Над её пожелтевшим письмом.*

1967

ЛЮБОВЬ ПОЭТА

*Странно желанье любви —
Чтоб любимое было далеко.*

*Овидий прав. Светла его печаль.
Он влюбчив оттого, что так устроен.
Поэт в любви предпочитает даль,
Он дорожит свободой и покоем.*

*Поэт творит из ничего... И жаль,
Что Данте и Петрарка не без дыма.
Не женщин, а магическую даль
Они живописали одержимо.*

*Влюбленный Пушкин был порой толим
Духовной жаждой до самозабвенья.
Какая даль меж Анной Керн и им!
Какая бездна чудного мгновенья!*

*Не верь поэту, дева! О своем
Он думает, идя в огонь и воду.
И Тютчев в поединке роковом
Сражался только за свою свободу.*

*Я тоже предпочел быть вдалеке,
Когда любил Европу, в синем море
Плывущую на царственном быке...
Какая страсть и грезы на просторе!*

*Поэт стихиен. Как ни назови,
Он то утес, а то морская пена.
И женщинам пора понять — в любви
Поэты лгут, но лгут самозабвенно.*

2001

*Закрой себя руками: ненавижу!
Вот Бог, а вот Россия. Уходи!
Три дня прошло. Я ничего не слышу
И ничего не вижу впереди.*

*Зачем? Кого пытался удержать?
Как будто душу прищемило дверью.
Прислала почту — ничему не верю!
Собакам брошу письма — растерзать!*

*Я кину дом и молодость сгублю,
Пойду один по родине шататься.
Я вырву губы, чтоб всю жизнь смеяться
Над тем, что говорил тебе: люблю.*

*Три дня, три года, тридцать лет судьбы
Когда-нибудь сотрут чужое имя.
Дыханий наших встретятся клубы —
И молния ударит между ними!*

1968

СУХОЙ БУТОН

*Была ты далека и сокровенна,
Когда строку лелеяла рука.
Он сотворил свой мир. Самозабвенно
Благоухает каждая строка.*

*Бутон в стакане рядом золотился,
И ждал тебя, и начал засыхать.
Явилась ты — сухой бутон раскрылся,
И зазвенел, и стал благоухать.*

*Так много в этом мире изменялось
От твоего случайного огня.
А ты прочла стихи и засмеялась:
— Подумать только! Снова про меня!*

*Не только про тебя так откровенно
Писала на свету его рука!
Не только про тебя самозабвенно
Благоухает каждая строка!..*

1994

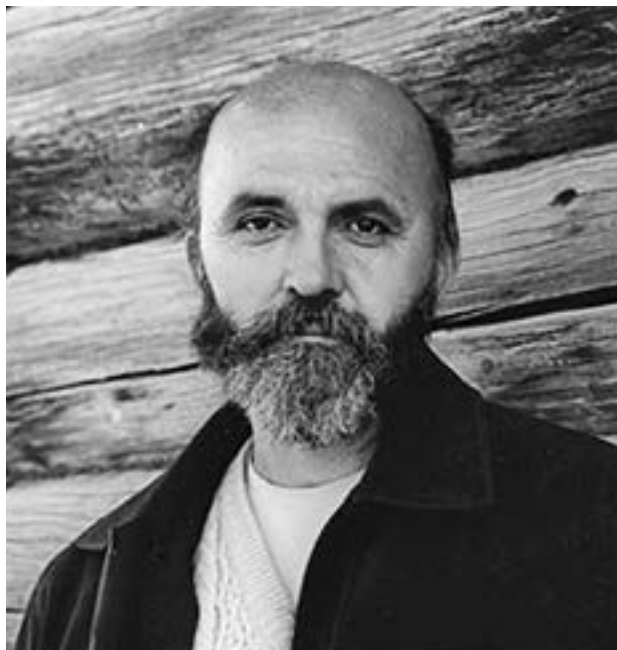
ПОЭТ

*Спор держу ли в родимом краю,
С верной женщиной жизнь вспоминаю
Или думаю думу свою —
Слышу свист, а откуда — не знаю.*

*Соловей ли разбойник свистит,
Щель меж звёзд иль продрогший бродяга?
На столе у меня шелестит,
Поднимается дыбом бумага.
Одинокий в столетье родном,
Я зову в собеседники время,
Свист свистит всё сильнее за окном —
Вот уж буря ломает деревья.*

*И с тех пор я не помню себя:
Это он, это дух с небосклона!
Ночью вытащил я из лба
Золотую стрелу Аполлона.■*

1969



НИКОЛАЙ ЗИНОВЬЕВ

Родился в 1960 году в станице Кореновской Краснодарского края. Поэт, член Союза писателей России. Лауреат Международного конкурса газеты «Литературная Россия», Большой литературной премии России, Бунинской премии. Классик русской литературы. По мнению Ю. Павлова, Н. Зиновьев — самый выдающийся поэт современной России. Живёт в Кореновске.

БЕССРОЧНАЯ ВЕСНА

РОДИНА

*Я понимаю, сын не блудный,
То, что другие не поймут:
У пережившей столько смут
Не может образ быть не смутным.*

*Болит душа, и ум блуждает,
Всё это так знакомо мне
И без сомнений убеждает,
Что я живу в родной стране...*

ВОСПОМИНАНИЕ

*Летело ржанье из конюшен,
День поднимался на крыло,
И осознание, что ты нужен
Своей стране в душе цвело.*

*Я шёл на ферму вдоль речушки,
И сочинял стихи, как мог,
Тёмно-зелёные лягушки
Бросались в воду из-под ног.*

*И гимн Советского Союза
Взлетал на влажные мостки,
И не кривилась моя муза
От боли, страха и тоски...*

Ольге С.

*Помнишь время: смерти не было,
Как морщинок на челе.
Мы подростками нелепыми
Пребывали на земле.*

*В хуторской глухой обители
Каждый был неповторим.
Мы, как воздуха, не видели
Счастья — мы дышали им.*

*Больше нет туда возврата нам,
Навсегда ушли те дни...
Я хотел тебя порадовать,
А ты плачешь... Извини...*

В НОЧНОМ САДУ

*Струит луна старинный свет
На старый наш заросший сад.
Давно в саду дорожек нет,
И потому я наугад
Бреду с заплаканным лицом
И вижу в лунной тишине,
Как молодые мать с отцом
Сквозь свет идут навстречу мне...*

*ПрОжил шесть десятков лет,
Сам с собою был не дружен,
В чём же смысл? И так ли нужен,
В самом деле, мне ответ?..*

*Пусть, как в детстве, к сердцу льнёт
Свет блаженного незнания,
И нигде меня не ждёт
Никакого наказания...*

*Со старой подругой – одышкой
Сижу, вспоминая те дни,
Когда я был шустрым мальчишкой
И птицей взлетал на плетни,
Быстрей всех мог к речке домчаться,
На старую вербу залезть...
И жить в ожидании счастья, –
А это ведь счастье и есть...*

*Те, кому не могу я помочь
Своей слабой молитвой, мне снятся.
И, увы, среди них моя дочь
Тожже стала порой появляться.*

*Что ж молитва моя так слаба?
Неужели и вера слаба так?
И бежит холодок меж лопаток
Нерадивого злого раба...*

ФАТУМ

*Хотел, чтоб сердце билось сильно,
Чтоб добротой душа лучилась,
Хотел примером быть для сына –
Не получилось.*

*Жизнь пролетела в глупой спешке,
Но никого винить нельзя:
Ведь нереально чёрной пешке
Дойти до белого фержя.*

В ХРАМЕ

*Сколько каялся, не счесть,
Но опять грешу, о, Боже.
Способ лишь один, похоже,
Очищенья в мире есть.*

*Будто с «финкою» в спине
Подхожу я к аналою.
«Неужели зло во мне
Истребимо лишь со мною?»*

ПОЭТ

*Как он выглядит жалко и сиро!
Его вид меня просто потряс.
От безумия этого мира
Он в «психушке» спасался не раз.*

*Он всё видит и глубже, и дальше,
Где нам сносно, там видит он жуть.
Он не терпит привычной нам фальши,
А мы терпим, и в этом вся суть.*

*Заката дымчатый рубин
Свалился в облачную грядку.
Чураясь демонских глубин,
Опять пишу стихи в тетрадку.*

*Они пугающе просты,
В них нет ни зависти, ни злости.
Они похожи... на кресты
На хуторском глухом погосте.*

*Смотреть не хочется на них,
Но смотришь, глаз не отрывая,
И возникает связь живая
С толпою образов живых...*

*Давно утрачена та смелость,
С которой брали города.
Всё отмечалось, всё отпелось,
Победу одержала серость.
Признать сие найдите смелость,
В дырявых туфлях «господа»...
Забыл напомнить вам, однако,
Что серость — это вестник мрака.*

*...А то, что сердце разболелось,
Ещё не повод для тоски.
Ведь не планета ж разлетелась
На крестоносные куски.*

*Всего лишь сердце разболелось,
Всего лишь строчка родилась,
Всего лишь счастья захотелось,
Всего лишь жизнь не удалась...*

*Душа не знает времён года,
Она не спит в объятьях сна,
Она превыше, чем природа,
Она — бессрочная весна.*

*Она — бессмертный отблеск детства,
Земные сроки ей смешны,
Они ей просто не нужны,
Как жалкое наследство... ■*



ВИКТОР БОГДАНОВ

Родился в 1941 году в селе Мужичи Чечено-Ингушской АССР. Окончил историко-филологический факультет Чечено-Ингушского пединститута. Прозаик, поэт, публицист, автор десяти книг. Публиковался в «Литературной газете», «Доне» и других СМИ. С 1990 года живёт в Краснодаре. Член Союза писателей СССР с 1978 года.

«ПОКА ХОТЬ ЧЕЙ-ТО СВЕТИТ ВЗГЛЯД...»

СТОРОНКА

*Золотая родная сторона,
Упаси тебя ангел и Бог,
Как хранит стригуна-жеребенка
Кобылица от бед и невзгод.*

*Среди стольких вокруг потрясений,
Среди стольких потерь и утрат
Да хранят тебя Блок и Есенин,
И с Перуном Дажьдбог да хранят.*

*Может только в часы роковые
Понимаем, и то не всегда,
Мы навеки одни у России
Как Россия навеки одна.*

АНГЕЛ

*Я превратился в ангела во сне.
И понял вдруг, какая это мука:
Лечить страданья и невзгоды все,
И быть всесветной помощи порукой.*

*И возопил я: Господи, прости,
Верни мне человеческую душу.
Я не готов грехи людей нести.
Я не хочу, я не могу, я трушу.*

*И внял Всевышний. Мне вернул меня.
— Вы, люди, словно маленькие дети.
Живи ж без вдохновенья и огня.
И я в слезах проснулся на рассвете.*

ЗАРЯ

*Ах, какая заря
Все горит не сгорая.
Жизнь, наверно, не зря
Нам дается такая,*

*Чтоб пытаться на излом,
На любовь и разлуку.
Испытания злом
Перемалывать в муку.*

*Чтоб до судного дня
Знать, зачем и во имя
Мы бежим от огня,
Попадая в полымя.*

КОРАБЛЬ

*Я видел, как тонул корабль в море.
Тонуло море в солнечных лучах.
И я тонул в глазах, больших, как горе.
А горе поглощал вселенский страх.*

*Гармония исчезла безнадежно.
Мир рушился в природе и душе.
Всеобщий хаос утверждался грозно
И я меж ними был на рубеже.*

*Симфония вселенского распада
Вливалась ядом, отравляла кровь.
И было ничего уже не надо,
Мир умирал, чтоб не воскреснуть вновь.*

*И если что меня еще держало
И в этом мире заставляло жить,
Так это моря мертвая держава,
Так это горя горестная нить.*

ГРИБЫ

*В предосеннем распадке,
Где рябины рябы,
На душе не заплатки,
Собираю грибы.*

*К черту город и страсти,
Где шуты и рабы.
Отрекаюсь от власти,
Собираю грибы.*

*На поляне таежной
Черных груздей ряды.
Перекормленный ложью
Собираю грибы.*

*Где-то там за горою
Обещаний гробы.
Обрастаю корою,
Собираю грибы.*

*Позабыты заботы,
Выхожу их игры.
Я со всеми в расчете,
Собираю грибы.*

ВЕРА

*Живем, безнадежно уверяясь,
Что жизнь — только прихоть судьбы.
И мысли о вечности — ересь,
Причуды больной головы.*

*Живем торопясь, мимоходом,
Чураясь врагов и друзей.*

*Торопимся вслед пароходам,
За следом мелькнувших саней.*

*Нам некогда мысли додумать,
До края дойти, до черты,
Киваем на время угрюмо,
Забыв молодые мечты.*

*И всё же, и всё же, и всё же...
Не так уж он прост, этот мир,
Который мы чувствуем кожей,
Подошвой, протертой до дыр.*

*Покличь. И откликнется глухо
И в хмурый, и в солнечный день
И Пушкина тень над Гурзуфом,
Над Ялтою Чехова тень.*

*Сдают в аренду Рафаэля,
Жалея только лишь о том,
Что сдать нельзя капель апреля
И долгожданный майский гром,*

*Июльский луг и ситец неба
И птичий гвалт, и шум берез,
И золотое поле хлеба,
Что душу трогает до слез.*

*Мне не постичь такое действо.
А может, я чуждак, отстал
И числю злато за злодейство,
А не разменный капитал.*

*Да, я и вправду в прошлом веке,
Где в море планов и идей
Жила мечта о человеке,
Так возвышавшая людей.*

*А мы всё это просвистели
Не ведая, что Бог нам дал.*

*И Рафаэль был Рафаэлем,
И Левитаном Левитан.*

СТЕПАНУ ЭРЬЗЕ

*Когда душа запросит неба,
Ты ей, упрямец, не дерзи.
Уйди с куском простого хлеба
Под своды вечные Эрьзи.*

*Там в тишине почти безбрежной
Ты станешь тем, кем стать желал:
Незащищенным, как подснежник,
И твердым, как уступы скал.*

*Там ты себе отыщешь дело —
Уверен, главное из дел,
Где жизнь цвела и отшумела,
Но слепок этой жизни цел.*

*Он в этих каменных громадах,
В нечеловеческом труде,
Где плоти так немного надо
И дух лишь царствует везде.*

АВГУСТ

*Август сгорел в одночасье,
После жары — холодок.
Словно стою на причастье,
На перекрестке дорог.*

*Прямо пойти — к убиению.
Влево — страдать и любить.
Вправо — к трудам и терпению,
Значит, такому и быть.*

*Примет душа одинокая
Всё, что душа ни пошлет.
Эта страна ясноокая,
Ангелов горних полет.*

ТЕРЕК

*Я уже не увижу Терек
В нежной зелени камыша.
Невысокий песчаный берег,
Где осталась моя душа.*

*Там, в родных гребенских станицах,
Кости предков моих лежат.
Там, где Лермонтова частица,
Где Толстого восход зачат.*

*Рабства тягостные оковы
Здесь не ведал народ простой.
И свобода совсем не словом,
Сутью жизни была самой.*

*Полынный простор да трава зверобой
И терское небо опять надо мной.
Осенних полей непонятная власть —
И ветер взмахнул, и распутица всласть.*

*И снова, и снова хочу я понять,
Чем душу мою ты сумела пронять.
И врезались в память с извечной тоской
Суглинок степи, да трава зверобой,*

*Корявые вербы, да пашен узор,
Да встречной казачки опущенный взор. ■*

P.S. _____

Редакция журнала поздравляет
Виктора Карповича с юбилеем.
Желает здоровья, крепости духа,
творческих свершений.

[illegible][illegible]

НА СТЫКЕ ЖАНРОВ





ГУРИЙ НЕМЧЕНКО

Родился в 1936 году на Кубани. Писатель, переводчик, публицист и общественный деятель. Член Союза писателей СССР с 1964 года, автор около пятидесяти книг прозы и четырёхтомного собрания сочинений. Первый атаман Московского землячества казаков.

КУБАНСКИЙ ВЕНОК ТЁТЕ НАТАШЕ СЕРЕБРЯКОВОЙ

1.

К стыду своему, только сейчас взялся переосмысливать историю, которую собираюсь тут рассказать.

Или наконец пришло время?

Но словно возникла вдруг жадная, чуть ли не яростная потребность, ну прямо-таки немедленно разобраться в том, о чем размышлял хоть и частенько, но все-таки — от случая к случаю.

С печалью думаю теперь: как тогда?

Как лет десяток, а то и больше, назад, когда после заутрени в Тимоховской церкви Серафима Саровского ненароком рассказал певчей Марине о бутылке теплого молока посреди нехоженого, занесенного снегом ночного поля...

Каким неожиданным светом вспыхнули ее всегда грустные глаза!..

Прямо-таки вцепилась мне в руку: «И это случилось, говорите, в наших местах? Где-то рядом?!»

Может быть, спросила не совсем так, все было несколько иначе...

Но то, что они с мужем Александром, художником Сашей, тут же вернулись к алтарю, дождались, когда выйдет отец Владимир и взяли благословение съездить в наше Кобяково, — это точно. Так им захотелось, видать, расспросить тети Наташину родню о далеком декабрьском чуде жестокого 1941 года...

Мне, правда, до сих пор непонятно, отчего я тогда не взялся над этим их душевным порывом шефствовать: Марина была крестной двоих наших малых внуков, Мелании и Ульяны.

Думаю теперь: невольно отстранился, желая «чистоты опыта»?

Однако это не тот случай, как говорится. Со всем не тот.

Не исключаю, что за неучастие свое в добром деле я потом каким-то образом поплатился... как нас иначе и наставлять-то?

На путь истинный.

Ведь история, которую я когда-то узнал от тети Наташи Серебряковой, была мне, по сути, ею з а в е щ а н а.

Потому-то сегодня, когда самому мне осталось уже не так долго пребывать на нашей теплой и все еще пока зеленой земле, решил собрать воедино все, какие у меня есть, и дневниковые записи на этот счет, и коротенькие отрывки из прежних работ...

2.

Дневник. 21 декабря 2012 г.

Мороз прижимал крепенький, и на автобусной остановке в полутора километрах от Кобякова, куда в кромешной тьме всё подходили наши «деревенские», было оживлённой обычного.

Пожимая руку Саше Серебрякову, спросил:

— Что, не завёлся твой «мерседес»?

— Так и вашего что-то не видать! — раньше него откликнулась бойкая его Лена.

Реальные «мерседесы», разрывая темь, всё проносились мимо. Слева те, что мчались в сторону Москвы из богатого кооператива «Топас», справа — которые ещё спешили в этот дачный посёлок за «деловарами», обычно выезжающими на свой промысел позже.

Подошёл автобус, я как штатный замыкающий переминался в конце нашей недлинной очередишки и, перед тем как ступить на подножку, подобрал на истоптанном снегу слетевший у Ларисы с сапога один из двух «ледоходов» — купленное для неё в электричке жалкое приспособление, этикетки контуры подошвы из пластика с несколькими, тоже из пластмассы, шипами на них. Чтобы не поскользнуться на зимней дороге.

Пока переводил её через горбатые ледяные колеи, пока дожидался, когда, переваливаясь, как утка с бока на бок, она поднимется по лестнице к станции, молодые Серебряковы уже сидели в электричке, и мы устроились неподалёку от них.

Народу было немного, и я продолжал поднабивать Сашу:

— Шапка у тебя знатная! Сам сшил?

— Куда ему! — снова опередила Лена.

А я вспомнил покойного отца Саши, Дмитрия Петровича. И вздохнул:

— Совсем мастера перевелись?.. Валенки подшить некого попросить. А то, бывало, идёшь: выручай, дядя Митя! И он — тут же...

— В ажуре-в темпе! — словами отца ответил Саша, и даже интонация, показалось, тоже была отцовская.

— А что читаешь хоть? — спросил его, когда он достал из сумки и поднял над коленями книжечку небольшого формата.

Саша улыбнулся:

— Про любовь!

Я вроде не поверил:

— Да ладно! — и кивнул на молоденькую соседку напротив него. — Про любовь нынче — на планшетниках. А это, небось, какая-нибудь инструкция по эксплуатации огородного трактора, ну признайся!

Он протянул мне книжечку в глянцево-светло-синей обложке, и я не стал даже глядеть ни на ее название, ни на фамилию автора. И то, и другое окаймлялось яркой линией пробитого

стрелой алого сердца — осталось только руками развести. Сдаюсь, мол, — и действительно, про любовь!

— Как там хоть ваши? — перевела Лариса разговор в русло женского любопытства. — Как Гена, что-то давно его не видели. Приезжает?

— Гена, как всегда! — сказала Лена и по её интонации всё насчёт Гены, нам должно было стать понятным.

А я спросил:

— Он сорокового?

— Сорок первого! — возразила Лена. — Январский...

— Значит, в декабре ему было...

— Будет в январе! — поправила Лена. — Ещё отметит...

И Саша на миг оторвался от своей книжечки с пробитым стрелой сердцем на обложке:

— Отметит! — уверенно поддержал. — Он отметит...

Пришлось сказать:

— Я не о будущем, братцы, январе!.. Вообще не о нём. О декабре.

— А причём тут? — удивилась Лариса.

— О декабре сорок первого.

— Ещё сорок первого?!

— Ты, наверно, забыла, мать, — сказал ей уже тихонько.

— О чём ты, не пойму, — ответила она также почти неслышно.

Что делать — у неё всё-таки иные, чем у меня, заботы. И память тоже устроена иначе, нежели моя, во многом профессиональная память, чутко настроенная на сохранение всего, что может потом для творчества пригодиться...

И опять ко мне вернулось застарелое ощущение невольной вины... перед кем?

Только ли перед тётей Наташей?

Но она бы и это снесла, как сносила многое, слишком многое другое, что на ее долю выпало... Кроме Геннадия и Саши у них с дядей Митей

ещё, по-моему, двое детей, и они не так счастливы. Недаром, наверное, у тёти Наташи любимая поговорка была: «В каждом доме — по кому, а у кого — и два».

Как раз она-то, может быть, тётя Наташа, и глядит на меня, всё мнящего себя горцем, с настоящих-то горных высот, которые зовём почти полузабытым теперь словом «г о р н и е»?..

Мол, что ж ты, Леонтьич?.. Я ведь не тянула тебя за язык, сам вызывался: напишу!

Пока так и не собрался.

Но это ощущение горькой вины неизвестно перед кем — иной раз кажется, чуть ли не перед всем миром — в последнее время посещает меня всё чаще, и нынче утром я собрался-таки сесть, наконец, за маленький рассказ о тёте Наташе. Но предварить его решил несколькими малыми отрывками о её муже, о Дмитрие Петровиче Серебрякове, с которым дружили и о котором столько уже успел понаписать, что он стал прямо-таки неизменным героем многих моих сюжетов — в одном ряду с такими известными личностями, как прославленный джигит Ирбек Кантемиров и младший брат его Мухтарбек или знаменитый «оружейник» Калашников...

3.

Когда три десятка лет назад мы купили в Кобякове избу, оставили Дмитрию Петровичу, дяде Мите, «вторые ключи», и много лет он был потом не только добровольным смотрителем нашего не очень, прямо скажем, ухоженного имения, не только наставником в основательно подзабытых сельских заботах, но и, частенько случалось зимой, истопником.

Стоило позвонить ему в «синаторий», где он по ночам дежурил, как слышался его чуть приглушенный подмосковными шумами насмешливый говорок: «Понял: в ажуре-в темпе!»

С ночи на пятницу растапливал в избе у нас

русскую печь, и утром в субботу мы уже не мёрзли в заиндевевших комнатах — из заметённого снегом леса приходили с электрички в благостное тепло.

Но рукою моей, когда потом о дяде Мите писал, двигало не только вполне понятное чувство признательности: он был настолько неординарной личностью, что не писать о нём было просто нельзя.

Вот полстранички из давнего рассказа «Парень, который не успел поменять в голове опилки». О нашем с женой кобяковском житье-бытье ранним летом, когда «огород зарастает»:

«Ничего, — говорю, — мама, — не с огорода живём!..» «А с чего же, — она спрашивает, — с одуванчиков, может?..» «Да, — говорю, — если хочешь, то да, с одуванчиков и живём, с красоты этой, которая, посмотри, вокруг нас... Пусть себе цветут!»

— Тебе перед соседями не стыдно, а мне — стыдно, — говорит она. — Понимаешь?

В это время года у неё комплекс такой: одуванчиковый. Потом начнутся другие: стыдно будет, что картошка у нас не подбита и заросла, что укропа за бурьяном не видно, стрелки чеснока не завязаны, лук пожелтел, саженцы яблонь опутала паутина, сливу одолевает тля, а мужику её, мужику — ни до чего нет дела!..

Ну как же, говорю, а родная словесность?..

Но ей — когда стоит среди одуванчиков — на родную словесность начхать.

— Они скоро выше тебя будут, посмотри! — корит жена.

4.

Поздоровался и стал рядом наш сосед дядя Митя Серебряков, пехотинцем прошедший через три войны, бывший гитарных дел мастер. Сухонький, но, как молодой петух, бойкий, подхихикивает моей жене нарочно весело, потом строжает, поталкивает меня в бок:

— Ну, слышишь, что твоя «изюминка» говорит?.. А ну-ка, неси косу, ё-моё, в ажуре-в темпе!

— Дядь Мить? — спрашиваю. — А почему коса — литовка называется?

— Она л е т а т ь у тебя должна, вот почему! — почти кричит радостно дядя Митя, которому я успел уже многое жестами и глазами объяснить: есть, мол, в рюкзаке она, проклятая, есть. Надо только «изюминку» ублажить — и посидим вечерочком, посидим.

Только ублажать он, жаль, взялся не так, как я ему глазами советовал: вместо того чтобы жену просто успокоить, да и всё — и в самом деле, поставил меня косить!

5.

Потом в деревню перебрался только что женившийся младший наш сын, врач-травматолог... Не пожилось тогда молодым в Москве! Даже большие начальники, которых я вынужден был просить, не смогли помочь ему записаться в кооператив, потому что жилплощадь наша была на 0,4 квадрата больше, чем полагалось тогда для такого ответственного, чуть не государственной важности дела.

И в Кобякове решать почти все его многочисленные проблемы тоже стал подсоблять ему дядя Митя.

Вот разговор с сыном из рассказа, который так и называется: «Готовый рассказ»:

«— Ты спрашиваешь, зачем мне хомут?.. А знаешь зачем? Был бы ты тогда тут!.. Видел бы эту картину!.. Дядя Митя устроил, представляешь? Серебряков. Слышим за окном: забирай, ну её, надоела, только место во дворе занимает! Выбегаю, а он стоит между оглоблей, нарочно их не бросает: забирай, кричит, телегу — твою! Говорю: позвали бы! А он: нет. Специально её один притащил, чтобы ты понял, какая лёгкая. Раньше умели делать! Думаешь, я одни гитары мастерил?.. Я

и телеги ладил — вот увидишь. Стояла у меня. Я про неё, можно сказать, забыл. Дровами заложил, она, говорит, и стояла, чурки и под ней, и на ней.

— Хорошая телега?

— Что ты! — радовался сын. — И новенькая, можно сказать, совсем, хоть ей уже годков и годков, как ты любишь говорить. Как на консервации у него стояла: всё честь честью.

Я тоже не удержался:

— Ну, Петрович!.. Прикатил, значит, телегу. «В ажуре-в темпе»?

— Да, так и сказал, ага..

Бывший гитарный мастер — в нашем Кобякове почти до самой войны гитары делали — и добровольный участник всех трёх, начиная с Хасана, войн... Когда маленько выпьет, начинает рассказывать: «В ажуре-в темпе, Серебряков!.. Опять война! Выйди в коридор и добровольно подумай: пойдёшь ты или нет? Тогда были хорошие пловцы родине нужны, на Хасане, теперя — лыжники, а ты у нас на все руки-ноги. Пойди и добровольно подумай, откуда скорей сможешь вернуться: с фронта или с тюрьмы?! Если не пойдёшь на фронт... Добровольно! В ажуре-в темпе».

— Он, наверно, никак решиться не мог, — рассказывал сын. — Думаешь, легко, говорит, Гошка, мне с нею расставаться?.. Я, может, тоже хотел коня купить, да всё некогда, и бабка, говорит, не разрешает — тётя Наташа. Но обратно, говорит, ты меня домой на телеге отвезёшь — запрягай! Чтобы Наташа видела, какое к её Дмитрий Петровичу уважение в деревне... запрягай, кричит! Знаешь, что он говорит: мы с тобой на этой телеге за г у м а н и д а р м о в о й помощью ездить будем. Она, говорит, мне от немцев как никому другому полагается: в ажуре-в темпе! Потому что я в последнюю войну был санитаром и исправлял их немецкое безобразие — с поля боя раненых выносил!.. А если бы автомат взял в руки?.. Тогда бы некому было нам эту помощь сегодня присылать, ё-моё! Уж я бы их пошмолял — такая злость была: за наших раненых!

— Ну, и ты отвёз его?

— А как же!.. Вместе запрягли... знаешь, какая телега, и вправду, лёгкая? И удобная — Петрович в ней сидел, как король. Едем, а он кричит: «В ажуре-в темпе, Гошка! В ажуре-в темпе».

6.

Потом это нарочитое, не сомневаюсь, унижение России «гуманидармовой» помощью закончилось, жизнь хоть чуть полегчала. Участникам войны, тем более с таким, как у Петровича, количеством наград, прибавили пенсию. Ко всем его старым документам и новым, какие стали присылать теперь на девятое мая, благодарственным письмам из районной администрации нашего Одинцова, прибавилась ещё и моя телеграмма, посланная ему на семидесятипятилетний юбилей из Старого Оскола.

Дело в том, что в нашем Кобякове одна улица — ну, какое у неё может название?.. И когда ко мне на почте пристали — мол, а всё-таки, всё-таки? — я забрал у них обратно свой бланк и дописал: «улица добровольца Серебрякова».

Тут у них возник новый приступ недоверия:

И улица добровольца Серебрякова, и получатель — Серебряков. Всё точно?

Но я уже напустил на себя строгость, иногда это бывает со мной. Непререкаемым тоном сказал:

— На этот раз точней некуда!

И так ли уж был неправ?

Дядя Митя этой телеграммой очень гордился и нет-нет мне же её и показывал: раз от разу всё более стёршуюся.

Любимая песня у него была «На закате ходит парень». В прозванном так за свой цвет деревенском «зелёном магазине», по секрету шепнула мне продавщица Надя, стоял у неё под прилавком из дому принесённый Петровичем персональный стограммовый стакашек.

Поближе к вечеру дядя Митя деловитой походкой молча шёл в сторону магазина, а о возвращении его возвещал в меру громкий, радостный напев.

Иногда я не мог его слышать, потому что работал в дальней угловой комнате, и тогда Лариса открывала, бывало, дверь, и как пароль, заговорщически сообщала:

— На закате ходит парень!

Случалось, я спрашивал:

— Компания ему не нужна?

— Нет-нет! — говорила она быстренько. — Он уже прошёл, сиди, работай.

Зато в другой раз поднимала меня как по тревоге:

— Не слышишь, «ходит парень»?.. На закате, на закате. Выскочи спросить, ты обещал!

И о чем только не приходилось дядю Митю расспрашивать, либо на пяток минут залучать, чтобы попросить совета на месте, как говорится: над просевшей половицей в избе, под потолком с потёками на веранде, около разорённой кротами грядки с морковкой или возле разломившейся под тяжестью плодов старой яблони.

— Гулять не устать, ё-моё! — начинал он всякий раз намёком на мою бесхозяйственность. — Поил ба только кто да кормил!

И чуть не всякий раз мы подыгрывали ему: где ж, мол, такого доброхота найти?

— Я же нашёл! — радостно кричал он. — Моя «изюминка» меня и поит, и кормит!

С тётей Наташей они не разгибались с утра до вечера, идеальный порядок был у них и в хозяйстве, где дядя Митя единоначально командовал, и в избе, где безраздельно тётя Наташа властвовала. Моя «изюминка» бегала то и дело к «изюминке» дяди Мити за советом. Или — просто поговорить. Или — только выслушать.

Оттого-то и знаю, что жизнь у старшей «изюминки» была не такая уж сладкая.

<...>

Потом в соседнем с Кобяково сельце Аляухово построили и освятили церковь во имя святых Царственных Страстотерпцев, и мы обнялись с надымским атаманом Сергеем Кришталем, привезшим туда на специальном прицепе громадного размера икону Царя-Мученика: до этого несколько лет назад виделись с ним в адыгском Майкопе...

После стараниями настоятеля этой церкви протоиерея Алексия, на символической развилке дорог возле нашего Кобякова — одна ведет в деревню Раево, рядом с которой расположен теперь престижный гольф-клуб, говорят, крупнейший в Европе, другая в Аляухово, больше похожее, конечно же, на «г о л ь-клуб», без «ф»... так вот, на нынешней этой российской «развилке» тоже теперь поставили большой поклонный крест, и в день 150-летия Государя, в назначенный час мы, несколько кобьяковских жителей, собрались возле него. Чтобы встретить крестный ход из Аляухова...

День был жаркий и душный, солнце пекло нещадно, и как я удивился, как обрадовался, когда еще с нашего кобьяковского пригорка увидел стоящих под высоченным крестом-новоделом Серебряковых Сашу и Лену.

Странное дело!..

Поздоровавшись, мы будто продолжили недавно начатый разговор.

— Скажи, Саня, — я попросил. — Где всё-таки то поле, по которому шла тогда тётя Наташа?.. Где могла быть тропинка, которую она решила спрямить... далеко отсюда? Хотя в какой, скажи, стороне?

Он как будто ждал этого вопроса. Не раздумывая, повел рукой на покрытый лесом взгорок, который начинался на другой стороне низины и как-то уж очень запросто произнёс:

— Да вон, совсем рядом... Как отец, когда метало снегом, ходил потом из санатория по этой дороге, так тогда и она... Только решила пойти наискосок. Через овраг до нашего двора куда ближе, чем через полдеревни — в обход, ты сам это, Леонтьич, знаешь... ну так же?

И такая у него в голосе слышалась уверенность, что мне расхотелось дальше его расспрашивать и еще что-то уточнять... вот оно!

Все как на ладони, и правда.

Как в «Божий день» ясно — так в нашей станции старые её жители когда-то говаривали.

...И тут, без всякой упреждающей хоть мало-мальской грозы, на нас обрушился такой густой и крупный ливень, какой даже в родном кубанском Предгорье не так уж часто случается...

На всю нашу кобьяковскую компанию нашелся всего один зонтик, под ним пытались укрыться женщины, а мы с Сашей тут же почти до нитки промокли... но хорошо почему-то нам было, почему-то — радостно!..

Пять лет в Аляухове стоит церковь Царственных Страстотерпцев, и всякий раз на престольный праздник, ну так льет!

— Это сама Святая Русь плачет по Государю! — всякий раз говорит отец Алексей.

Только ли по нему?.. По утраченной сто лет назад такой могучей державе?.. По всему народу российскому, загубленному еще небывалой дотоле великой междоусобицей...

Но отчего на душе-то под этим дождиком радостно?

Не оттого ли, что стали мы, наконец, потихоньку прозревать?

11.

Крестный ход весь тоже промок, шелковая черная ряса у монастырского звонаря, брата Дорофея, была хоть выжми... что я отчасти и сделал, когда с ним обнялись: давно не виделись...

Началось торжество освящения памятного креста, но к своим, кобяковским, я не вернулся. Остался рядом со звонарем-монархистом.

Сдержанную короткую надпись на каменном подножии успел прочитать еще перед этим, но когда монах наклонился к ней, тоже, как бы заодно с ним, подался к строчкам и я...

Брат Дорофей вдруг тихонько шепнул мне:

— Надо было тебе ее сочинить... Надпись. Не было разговора?

Конечно же, я радостно понял, о чём он. Снова о тех дорогах мне строчках, которые выбиты на памятном камне под стенами Саввино-Сторожевского монастыря...

Перед этим, пока ожидали идущих от церкви Царственных Страстотерпцев, сам я, огорченный слишком казенным текстом у подножия Поклонного креста, думал несколько о другом.

В красочном духовном журнале «Успенский сад», который издает московский Страстной монастырь, настоятель отец Алексей твердо и обстоятельно объявил о создании в Аляухово Центра традиционной русской культуры...

А что, если, размышляя я, напроситься к нему в помощники?..

И уговорить его первым бы делом провести среди местных, какие в округе есть, школяров, конкурс на сочинение о Государе.

Что они знают о нём?.. Каким он из нынешнего далека им видится? И не только он сам — е г о время?

Даже для меня, перешагнувшего восьмидесятилетний рубеж, прошлое стало намного родней, когда поездил да походил пешочком по здешним сокровенным, считай, местам.

Разве это не важно?!

Знать, что сто лет назад Звенигород считался духовным центром России, и невидимый глазом, но осязаемый сердцем благодатный покров Саввиной обители широко простирался над окрестными землями и водами... над леса-

ми с братьями нашими меньшими, с птицами и зверьем... над полями со злаками... над теплыми людскими жилищами...

... И вдруг, когда брат Дорофей тихо шепнул теперь о тексте для поклонного креста в память о Государе, что-то такое со мной произошло...

Пронеслось стремительно, все сразу: французский маршал Богарнэ. Русский генерал Вицингероде... «Винцо в огороде», как звали его и казаки, и солдатики... последний наш император Николай Александрович...

И что-то, ну будто полузадушенное, прямо-таки закричало во мне: а тетя Наташа?!..

Серебрякова, да.

Может, Саша ее самую малость ошибся, как знать!

Сколько от Поклонного креста до их избы в Кобякове?

По прямой — ну метров триста-четыре. А тропинок раньше в этих местах было немерено!

Это теперь все перегородили кирпичные да стальные заплоты.

Даже у нас тут. Тоже, само собою, — в «г о л ь клубе».

А тогда, зимней ночью, именно здесь тетя Наташа, вся в слезах, и бежала...

И тут она ждала ее среди чистого-пречистого снега — большая бутылка теплого, почти горячего молока... как раз на том месте, где поставили теперь этот высоченный Поклонный крест... да вот же, как раз тут!

Она была как некая материализованная, уже земная ось... как то, что строители называют реперной точкой.

Ведь у Бога все живы! И нынче, и тогда. И все Ему и святым Его одинаково дороги.

И это совсем другая любовь, чем та, о которой нынче взахлеб читают не только по электричкам...

Везде и всюду, к стыду.

По всей большой, молчаливой нашей Родине...

12.

Может, оттого-то и прорвалось во мне, что все эти годы после оставленного мне тётей Наташей з а в е щ а н и я, я всё-таки не сидел сложа руки, как говорится.

Другое дело, что не очень-то спешил, ну так вышло.

Несколько раз ездил в многострадальное Ершово, о котором в суховатом сборнике «Одинцовская земля» из серии «Энциклопедия сел и деревень Подмосковья» коротко говорится: «В годы Великой Отечественной войны Ершово оказалось на линии фронта. Немцы, захватив село на очень короткое время, сожгли его (из 106 домов осталось всего 11), а церковь была взорвана с запертыми в ней ранеными бойцами и жителями села. После войны на месте храма был воздвигнут памятник погибшим воинам...»

Памятник обычный, как бы традиционный: ставший на одно колено солдат, с опущенной на грудь головою в каске, держит низко наклоненное знамя.

После, когда стараниями местной администрации восстановили церковь, получилось, что перед нею-то, перед её тысячелетней историей, и склонилось дитя трагического для России XX века: красное знамя...

Не поздновато ли?!

Об этом я написал рассказ «Ершовский символ» и книгу «Газыри», в которой он был напечатан, от vez потом главе Ершова Виктору Бабурину... удивительный это человек, удивительный!

Дотошно знающий округу, ну чуть ли не ученый-краевед из редкой нынче породы народных заботников и заступников... Только в одном с ним, эх, разошлись: не было, уверяет, под Ершовым этого сражения, когда земляки мои — с шашками против танков!

Потом уже стал думать: а может, четыре десятка лет назад сама судьба определила меня в нашу те-

перешнюю полуизбу-полудом в Кобякове под Звенигородом?..

Купили мы её ещё в 1980 году у одного из потомков пушкинской няни Арины Родионовны... тут, правда, дело такое: спросите чуть не любого встречного в недалеком от нас пушкинском Захарове: а вы не из того ли славного рода?

И чуть не каждый встречный ответит: ну как же, как же, мол!..

Уверен, что это и хорошо, и не подлежит осуждению: у каждого из нас уже столько отобрали, что любой разумный, думающий человек инстинктивно ищет защиты в общем прошлом.

Но у Владимира Ивановича Семенова, который уже промелькнул в рассказе под своим давним деревенским прозвищем — Паяла, есть, так сказать, «сертификат качества»: документ, и впрямь подтверждающий родство с Ириной Родионовной Яковлевой.

Это он первым рассказал мне о постояльцах декабря 1941-го в нашей избе. Это с ним потом уже долгие годы оба пытаемся разгадать тайну «ершовского сражения», назовем это так.

На чердаке его родовой избы в Захарове хранится старое деревянное кресло, в котором во время знаменитого своего рейда по Подмосковью якобы сиживал сам Доватор: принимал донесения.

«Сертификата» на кресло у Владимира Ивановича, правда, нету. Зато есть дочь Наташа, Наталья Владимировна. Учитель истории, одна из самых известных в России поисковиков, у которой за это доброе дело «орденов больше, чем у Брежнева».

С ней тоже нет-нет, да перезваниваемся, о наших местах рассказала мне многое, но вот что касается кубанских казаков под Ершово...

13.

Полтора десятка лет назад, в дни празднования 60-летия Победы, позвонил мне однажды ранним утречком Владимир Иванович и напу-

стился чуть не с обидой: мол, что за режим такой у его друга-писателя?.. Как только куры на насест, он — в кровать. А ведь лишь поздно вечером, а то и глубокой ночью начинаются «по ящику» самые интересные передачи.

Вчера, мол, показывали трофейную немецкую кинохронику. В том числе и об этом самом: о казачьей атаке под Ершово. Первым делом хотел сообщить в Москву дочери — ни трубку не взяла, ни мобильник. Кинулся звонить в Кобяково: номер, мол, недоступен.

— А там такое! — выговаривал мне Владимир Иванович. — Мы из казаков дурачков делаем, и ты, Леонтьевич, тоже... Из своих же! С шашками против танков!.. Да шашки — больше для отвода глаз, понял?.. Там это ну до того ясно!.. Мчатся группами... небольшими такими кучками. Косят их, конечно, из пулеметов, но снова они смыкаются, кто остался. А перед танком... Ну, разделяются надвое, они его по бокам обтекают, а один на один остается главный: со связкой гранат... Они его прикрывали, они его до той поры берегли. А он уже — или-или. Или успеет отскочить с конем, или его тоже разносит взрывом... Ты понимаешь: смертник!.. Вот мы про японцев: камикадзе... А тут?!.. Ты меня слышишь?.. Алё!... Ты слышишь? Или опять со связью?..

Со связью всё было хорошо.

А я глотал слезы.

Еле выдавил из себя:

— Жаль, что не видел...

Он там живо откликнулся:

— Потому тебе и звонил, там такое!.. А снимали они с двух точек, одна камера была у немецкого танкиста... или он думал, успеет спрятаться? Люк захлопнуть... И этот тоже! Казак... Мало того, что вслед ему сунул связку... в люк! Прямо на голову. Но нет — тут же отскочить!.. Он еще коня вздыбил и руку в азарте вскинул... вроде того что: как мол?.. Видали?!.. Как на представлении — конные циркачи...

...Господи!

Да если бы после такого «представления» хоть один из них вернулся домой!

14.

Может быть, это было не под Ершово все-таки... Где-то неподалеку.

Откуда можно было и до нашего Кобякова на санках привезти закоченевшую на морозе конину...

Я теперь не об этом.

Как-то недавно, когда с одним из старых друзей размышляли о судьбе казачества, в голову мне вдруг пришел стих:

От казаков не соберешь костей! —

товарищ мой промолвил глухо. —

Ушли почти из всех казачьих областей...»

А я его спросил: «А область Духа?»

Потом однажды подумалось: а разве это не обшая русская судьба?!..

И только там, в этой неуничтожимой, бессмертной Области никто у нас больше ничего не отберет: нет таких сил, чтобы это сделать.

В Ней мы будем жить вечно. ■

*Полный вариант читайте
на сайте журнала rkuban.ru*

НА ПЕРЕКРЁСТКАХ ИСТОРИИ







ИГОРЬ СИРИЦА

Родился в 1961 году в Краснода-
ре. Кандидат юридических наук.
Автор публикаций
по историко-правовым аспектам
деятельности правоохранитель-
ных органов и спецслужб
Кубанской области.
Живёт в Краснодаре.

ВСЯ ПРАВДА О ЕКАТЕРИНОДАРСКОМ СЫЩИКЕ А.П. ПРИШЕЛЬЦЕВЕ

(Окончание)

После того как Екатеринодарским сыскным отделением был задержан Антон Полюндра и члены его банды, уличенные в убийстве семьи лавочника Саркисова, в апреле 1910 года начальнику Кубанской области Михаилу Павловичу Бабычу поступило прошение от «группы армян города Екатеринодара», в котором они писали: «Покорнейше просим Ваше превосходительство разрешить нам в знак благодарности начальнику сыскного отделения коллежскому ассессору г. Пришельцеву за умелые и энергичные действия по раскрытию и задержанию убийц семьи Саркисовых поднести подарок вещью». Естественно, начальник области размашисто наложил резолюцию: «Не разрешаю». Казалось бы, на этом дело и закончилось. Ан нет, развязка случилась несколько позже...

Тогда же, в апреле 1910 года, Александр Петрович Пришельцев был приглашен на заседание Городской Думы, дабы представить отчет о проделанной работе сыскного отделения за период с 11 июля по 31 декабря 1909 года. Поскольку это была уже вторая встреча с гласными и городским головой, Пришельцев не сильно волновался и бодро доложил, что за истекший период раскрыто 17 убийств и установлено 25 человек, причастных к ним, из которых 13 уже арестовано, 4 — содержатся в разных тюрьмах, 1 — умер и 7 — пока не разыскано. Из общего числа убийств одно совершено в Екатеринодаре, а 16 — в Кавказском, Лабинском и Баталпашинском отделах Кубанской области. Помимо этого, раскрыто два уличных грабежа в Екатеринодаре, по которым задержано четверо грабителей,

два разбойных нападения (одно в Екатеринодаре, а другое в станице Афипской, задержано пять преступников), а также 34 кражи, причинивших материальный ущерб на общую сумму 13067 рублей, по которым задержано 53 вора и 4 «приемщиков краденного». Наконец, было раскрыто похищение некой девицы: она была освобождена, а ее похититель арестован.

Удовлетворившись докладом Пришельцева и позволив ему покинуть заседание, гласные Думы перешли к обсуждению. Слово взял Гавриил Степанович Чистяков, который заявил, что «поражен той массой преступлений, о которых только что сообщил начальник сыскного отделения, и которые мы узнаем лишь только тогда, когда они совершаются». Коснувшись вопроса о «трудности должности начальника сыскного отделения, ежедневно подставляющего лоб под пулю преступника», Чистяков предложил Думе «отметить полезную деятельность Пришельцева благодарностью и денежным вознаграждением». Гласный Сергей Егорович Никифораки, присоединившись к предложению Чистякова, заявил, что «в сыском отделении находится не только начальник, но там есть и полицейские надзиратели и городовые, которые несут также трудные обязанности. Если отмечать деятельность Пришельцева, то надо отметить и деятельность остальных». Наконец, Чистяков резюмировал, что «благодарность следует направить через начальника области подлежащему начальству, дабы она была записана в послужной список». В конечном счете Дума приняла решение ассигновать сыскному отделению 500 рублей на вознаграждение, «пропор-

ционально получаемому жалованью», и выразить Пришельцеву и чинам сыскного отделения благодарность «за полезную их деятельность». Кроме того, было решено выделить сыщикам еще и 800 рублей для приобретения «новых револьверов, штатского платья и принадлежностей грима», поскольку в своем отчете Пришельцев, затронув перед гласными вопрос об экипировке для розыска, заявил, что «сыщикам приходится валяться под заборами и ночевать вместе с разбойниками в ночлежках, а приобретенные два года назад на ассигнованные деньги платья давно уже поизносились».

По результатам деятельности Екатеринодарского сыскного отделения весной 1910 года начальник Кубанской области выразил благодарность «великолепной восьмерке» и направил центральным властям представление к их награде. В начале декабря того же года император пожаловал медалями «за усердие» полицейских надзирателей Ивана Иванович Тимошенко и Леонтия Андреевича Григониса, а также городских Михаила Васильевича Гончарова, Ивана Ефимовича Компанец, Михаила Ульяновича Вольского и Ивана Даниловича Ляхова. Что касается Александра Петровича Пришельцева и Степана Матвеевича Коржа — их награды ждали впереди.

Между тем, полицмейстер Екатеринодара Дмитрий Семенович Захаров, как и в случае с первым начальником екатеринодарского уголовного сыска Ювеналием Ивановичем Гапоновым, по обыкновению негодовал: все лавры победителя в противоборстве со злодеями вновь в руках, теперь уже Пришельцева и его сыщиков, а он — главная полицейская власть в городе — опять не у дел, остался в стороне и не попал в представление областного начальника о награждении! И Захаров, в присущей ему манере, начал интриговать и мелко пакостить главному городскому сыщику. Тому оставалось лишь реагировать и взывать к вышестоящим инстанциям.

1 июня 1910 года Пришельцев сообщал проку-

рору Екатеринодарского окружного суда: «22 мая товарищ прокурора 1-го участка Екатеринодара поручил мне опросить, с целью выяснения личности арестанта, называющего себя болгарском подданным Семеном Гоцевым, содержащегося при Екатеринодарском полицейском управлении. Для выполнения этого требования я 28 мая просил полицейское управление о высылке ко мне в сыскное отделение Гоцева, но полицейское управление дало мне знать, чтобы я, согласно резолюции полицмейстера, явился для допроса Гоцева к ним. В виду того, что только за истекшее пять месяцев мною было задержано 183 человека, которые, за неимением в моем распоряжении достаточного количества служащих, все отправляются для содержания в полицейское управление, и что почти каждый арестованный фотографируется и регистрируется через антропометрическое измерение и дактилоскопию, я не имею возможности являться в полицейское управление для расспроса арестованных уже по той причине, что придется возить с собой фотографический и антропометрический аппараты и другие принадлежности. Донося о новом распоряжении полицмейстера Захарова, парализующем мои действия, прошу, не найдете ли возможным, предложить ему высылать ко мне из полицейского управления арестантов, чтобы я имел возможность выполнять требования судебных властей».

Однако полицмейстер продолжил заниматься самодурством, и Пришельцеву пришлось в тот же день вновь обратиться к прокурору: «Захаров отменил свое приказание о явке моей в полицейское управление для допроса арестованного Гоцева, но сделал одинаково парализующее мои действия распоряжение, чтобы я выслал двух городских сыскного отделения за Гоцевым и чтобы вообще в подобных случаях я командировал своих городских за арестантами. На мой доклад, что у меня городских всего четыре человека и что Департамент полиции на курсах начальникам сыскных отделений разъяснил об употреблении этих городских в качестве

агентов, полицмейстер приказал их считать не сыщиками, а городовыми лишь для охраны сыского отделения и предложил жаловаться на него в Департамент полиции. Ввиду того, что эти городовые являются единственными агентами и что они находятся в постоянных наблюдениях за заподозренными лицами, а в частности в данное время идут розыски по нескольким убийствам, то распоряжение полицмейстера равносильно уничтожению всякой продуктивности в работе вверенного мне сыского отделения».

Прокурор Екатеринодарского окружного суда сообщил начальнику области о неподобающих выходах полицмейстера и присовокупил, что «местное сыское отделение действительно занято в настоящее время сыском по весьма серьезным делам, поэтому всякое отвлечение кого-либо из малочисленного состава, находящегося в распоряжении начальника сыского отделения, от тех обязанностей, которые возложены на каждого начальником отделения, не может не отразиться вредно на деле раскрытия преступлений. Для успешного выполнения сыским отделением возложенных на него законом обязанностей необходимо самое широкое содействие со стороны чинов общей полиции, наконец, от успешности действий сыского отделения в значительной степени зависит и отправление правосудия».

Ознакомившись с позицией прокурора, начальник области Бабыч «признал необходимым в целях более успешной деятельности Екатеринодарского сыского отделения выделить таковое из состава Екатеринодарского полицейского управления с непосредственным подчинением мне и прокурору Екатеринодарского окружного суда». Мало того, начальник области предложил Пришельцеву «докладывать непосредственно мне, независимо такого же доклада и полицмейстеру Екатеринодара, о всех действиях сыского отделения ежедневно доносить рапортом полицмейстеру для внесения в точный рапорт, представляемый мне». Однако про-

курор подсказал Бабычу, что таковое его решение противоречит закону «Об организации сыской части» от 6 июля 1908 года: лучше просто не мешать Пришельцеву в его деле борьбы с преступностью, это всем будет на руку. И начальник области не мог не согласиться.

Однако Захаров не унимался: 3 июня 1910 года он подал рапорт Бабычу, в котором указал, что «при встрече со мной начальник сыского отделения Пришельцев, по-видимому с целью выказать мне полное неповиновение, не отрапортовал о положении дел в сыском отделении. Имея в виду, что преступное ослушание и неповиновение подчиненных наказывается по всей строгости закона, под опасением, что всякое в сем случае послабление может повести к расстройству подчиненности по службе и, принимая во внимание, что проступок Пришельцева предусмотрен статьей 392 Уложения о наказаниях, я ходатайствую пред Вашим превосходительством о наложении на означенного чиновника взыскания в высшей мере. Докладываю, что Пришельцеву объявлено в приказах по полиции более трех выговоров и замечаний». Начальник области, мудро рассудив, что собака лает, а караван идет, отправил рапорт полицмейстера в мусорную корзину: не стал мешать Пришельцеву с его хлопотами бороться со злодеями и душегубами.

Однако и это не остановило Захарова: он продолжил методично «съедать» начальника сыска, результатом чего стал безобразный скандал. О нем в своем рапорте от 25 августа 1910 года доложил начальнику области Пришельцев:

«Получив сообщение от прокурора Екатеринодарского окружного суда от 23 сего августа о прибытии в Екатеринодар 25 августа господина Министра юстиции и предписание Екатеринодарского полицмейстера о принятии мер к безопасности Его высокопревосходительства, я, сделав соответствующие распоряжения по сыскому отделению, отправился для встречи господина Министра на вокзал. Там до прибытия полицмейстера, который явился

значительно позже меня, заменяющий прокурора его товарищ Ширавович на мой доклад указал мне, что я должен находиться там, где сгруппированы судебные следователи.

Не ожидая, что в данном случае может произойти какой-либо инцидент из-за места, где я буду находиться, я встал рядом с начальником тюрьмы Шпилевым. Подошедший ко мне полицмейстер есаул Захаров приказал мне сейчас же отойти от начальника тюрьмы в сторону, на что я, отодвинувшись от Шпилевого, доложил, взяв под козырек, что нахожусь на этом месте по распоряжению прокурора. Полицмейстер в повышенном тоне, забывая об окружающей обстановке, крикнул: «Я над вами начальник и сейчас же выгоняю вас!», обозвал меня «революционером» и, вслед за сим, обругал меня «нахалом». Слышал ли кто весь этот разговор, я не справлялся, считая неудобным в интересах службы наводить подобные справки. Но начальник тюрьмы Шпилевой высказал мне, что он, услышав брань полицмейстера, предположил, что тот обратился к кому-либо из посторонней публики. Прослужив около 19 лет на государственной службе по полицейскому ведомству и имея счастье быть лично известным Вашему превосходительству и Его сиятельству Наместнику на Кавказе за верно-подданного, а не гнусного революционера, к борьбе с которыми я направлял и направляю свои силы, я считаю себя названием «революционер» оскорбленным как чиновник и верноподданный Его величества, а бранным словом «нахал» оскорблен как лицо привилегированного сословия. Но свято помня долг присяги, не имею возможности ответить на оскорбления полицмейстера есаула Захарова, поставившего меня ниже звания чиновника и человеческого достоинства, ничем не запятнанного».

На следующий день к начальнику области явился полицмейстер с рапортом, в котором излагались прямо противоположные факты. В нем Захаров поливал грязью начальника сыского отделения и просил «об устранении его от занимаемой долж-

ности теперь же, ибо совместное служение с таким упрямым (а что это так, свидетельствуют мои личные доклады и письменные донесения) положительно рискованно: он, Пришельцев, может вызвать на личную расправу». Пришлось Бабычу в очередной раз улаживать конфликт, ибо ситуация сложилась настолько взрывоопасной, что достаточно было поднести не зажженную спичку к бочке с порохом и та бы взорвалась. И полицмейстер такую спичку отыскал...

В начале сентября Захарову стало известно, что, несмотря на запрет начальника области, «группа армян» в знак благодарности за арест убийц семьи Саркисовых «поднесла» начальнику сыского отделения золотой портсигар, стоимостью 300 рублей, с гравировкой: «А.П. Пришельцеву от друзей гор. Екатеринодара». Он немедленно приказал приставу 1-й части города Николаю Трофимовичу Персиянову произвести «дознание по делу о сборе пожертвований на подарок начальнику Екатеринодарского сыского отделения Пришельцеву». Во исполнение приказа пристав 11 сентября вызвал в управление 1-й полицейской части армян, припугнул их и, в конечном счете, получил от них следующие показания.

Екатеринодарский купец 1-й гильдии Арам Мартынович Никогосов, проживавший на углу Красной и Карасунской улиц, пояснил: «В конце августа сего года я встретился на Красной улице с местным купцом Григорием Сахав. Он сказал мне, что был сегодня у начальника области и просил разрешения для сбора пожертвований на покупку подарка — золотого портсигара — местному начальнику сыского отделения Пришельцеву за открытие им преступников по делу об убийстве семьи Саркисовых. Его превосходительство официально разрешения на это не дал и сказал, что если кто этому сочувствует, то это их дело. После этого Сахав предложил взять на себя миссию по сбору этих пожертвований, на что я согласился. Спустя дней десять после этого разговора ко мне в магазин при-

ехал Каспар Сариев, который, напомнив мне о сборе пожертвований, предложил свои услуги помочь в этом. На это предложение я согласился, и мы с ним собрали у разных лиц 170 рублей. До окончания сбора пожертвований Сахав и Сариев через магазин Горчакова выписали золотой портсигар в 300 рублей. Деньги за него не платили, так как всей этой суммы не собрали. Из собранных денег 145 рублей находилось у меня, а 25 рублей у Сариева. Помимо Сахав, меня просили о сборе пожертвований и другие лица от имени сочувствующих этому делу».

Мещанин Нахичевани-на-Дону Каспар Борисович Сариев, проживавший в гостинице Губкиной «Гранд-Отель» по Гимназической улице, пояснил: «При встрече с Пришельцевым, последний шутя, узнав, что армяне по собственной инициативе хотят преподнести ему в подарок золотой портсигар, сказал: «Где же ваш портсигар?» Действительно, с Никогосовым я собирал деньги. Всё собранное находится у Никогосова, за исключением 25 рублей, которые я отдал в задаток в магазине Горчакова. Портсигар этот хотели от имени сочувствующих армян преподнести Пришельцеву».

Житель селения Кузнот Нахичеванского уезда Эриванской губернии Христофор Иванович Мовсесов, проживавший по Бурсаковской улице в гостинице «Нью-Йорк», пояснил: «Около 15 дней тому назад ко мне в гостиницу явились Никогосов и Сариев, которые объяснили, что они собирают деньги на подарок Пришельцеву за открытие убийц семьи Саркисовых. Поэтому предложили мне дать сколько-нибудь денег. Я сначала отказался, но потом Никогосов сказал мне: «Дай, тебе лучше будет». После этого я дал 5 рублей. Больше по делу ничего не знаю».

Екатеринодарский купец Григорий Степанович Сахав, проживавший на Красной улице, пояснил: «Никакого разрешения для сбора пожертвований мне Его превосходительство начальник области не давал, и лично я этих сборов не делал. Знаю лишь то, что Сариев и Никогосов у разных лиц собрали

до 300 рублей и на эти деньги через магазин Горчакова выписали золотой портсигар, который передали Пришельцеву. Всего сдали деньги 15 человек».

Подозреваем, что купец Сахав слукавил и всей правды приставу Персиянову не рассказал. Будучи хозяином магазина обуви и шляп на Красной улице, № 46, он был широко известен в городе и достаточно богат. И вовсе не случайно в 1914 году, по случаю приезда в Екатеринодар государя императора Николая II, начальник Кубанской области Бабыч одолжил у Сахав автомобиль для участия в кортеже во время поездок императора по городу в различные учреждения. Не исключено, что начальник области на официальном уровне не разрешил ему дарить портсигар Пришельцеву, но по-своему, исключительно в знак благодарности за раскрытие чудовищного преступления, дал понять, что не против такого жеста от армянской диаспоры. Собственно, это и подтверждается показаниями купца Никогосова.

Как бы то ни было, 28 сентября полицмейстер Захаров направил свой рапорт начальнику области: «При сем представляю на благоусмотрение Вашего превосходительства дознание, коим установлено, что начальник сыскного отделения Пришельцев позволил себе принять в дар, приобретенный на средства, собранные среди армянского населения, золотой портсигар стоимостью 300 рублей за успешные розыски злоумышленников по делу убийства семьи Саркисовых. Судя по свидетельским показаниям Сариева и Мовсесова, в деле этом имеются признаки на состав преступления, предусмотренного статьей 372 и пунктом 2 статьи 377 Уложения о наказаниях».

Иными словами, полицмейстер усматривал в действиях начальника сыскного отделения взяточничество и вымогательство взятки, по тогдашней терминологии — мздоимство и лихоимство. Статья 372 гласила: «Если чиновник или иное лицо, состоящее на службе государственной или общественной, по делу или действию, касающемуся до

обязанностей его по службе, примет, хотя и без всякого в чем-либо нарушения сих обязанностей, подарок, состоящий в деньгах, вещах или в чем бы то ни было ином, или же, получив оный и без изъяснения предварительного на то согласия, не возвратит его немедленно и во всяком случае не позднее как через три дня, то за сие, в случае, если подарок принят или получен уже после исполнения того, за что оный был предназначен, принявший его подвергается: денежному взысканию не свыше двойной цены подарка; когда ж оный принят или получен прежде, то, сверх того же денежного взыскания, и отрешению от должности». А пункт 2 статьи 377 определял: «Высшей степенью лихоимства почитается вымогательство. Под сим разумеется всякое требование подарков, или же неустановленной законом платы, или ссуды, или же каких-либо услуг, прибылей или иных выгод по касающемуся до службы или должности виновного в том лица делу или действию, под каким бы то ни было видом или предлогом». Санкция нормы предусматривала от «ссылки на жительство в Сибирь» до «поселения в отдаленнейших местах Сибири».

Итак, стараниями Захарова дальнейшая служебная перспектива Пришельцева вырисовывалась нелицеприятная: как говаривал Пушкин, «дохнул осенний хлад — дорога промерзает» по пути в Сибирь. Но мудрый Бабыч, прекрасно понимая всю подоплеку этого инцидента, не нашел в действиях начальника сысканого отделения корыстного лихоимства и спустил дело на тормозах. А потом события приняли и вовсе любопытный поворот. Всем было известно, что Захарову давно уже хотелось повышения в чинах, ибо засиделся в есаулах (армейских капитанах). Поэтому Бабыч особо и не возражал, когда тот подал рапорт о переводе в Карс полицмейстером: с глаз долой — из сердца вон! 17 мая 1911 года последовал приказ наместника на Кавказе о назначении Захарова на указанную должность, и 1 июня тот был исключен из списка чинов Кубанской области, а потом переименован в капи-

таны с зачислением по армейской пехоте. Года не прошло, как Высочайшим приказом по военному ведомству от 26 августа 1912 года Захаров был произведен в подполковники, и радости его не было предела!

...Сысканое отделение вздохнуло с облегчением, когда Захаров убыл из Екатеринодара. Назначенный 18 августа 1911 года полицмейстером Екатеринодара войсковой старшина Дмитрий Иванович Ходкевич до того управлял хозяйственной частью в Кубанском Мариинском женском институте, а потому в делах полицейских мало что смыслил и помехой Пришельцеву в его розысках не стал, да и сам туда особо не лез, сосредоточившись на составлении справок и отчетов по городской полиции. Александр Петрович же сотоварищи, развязав руки и при полной поддержке прокуратуры и областного начальства, приступил к противоборству с новой бандой, получившей незамысловатое название «факельщики», ибо не чужды ей были появления с театральным эффектом на места совершения разбойных нападений.

Первое проявление «факельщиков» в Кубанской области случилось еще в ночь на 10 января 1909 года в станице Новорождественской, когда члены банды, подобно мрачным всадникам Апокалипсиса, с зажженными факелами напали на хутор братьев-казаков Яковенковых и, стреляя из револьверов, проникли в дом, где потребовали денег. Получив отказ, бандиты связали хозяев и принялись обыскивать дом. Обнаружив 4715 рублей и ружье, злоумышленники, забрав деньги и оружие, скрылись по команде своего главаря.

В ночь на 18 января «факельщики» напали на хутор Семена Ветра в юрте станицы Раздольной. Хозяин закрылся в хате и стал палить оттуда из ружья по бандитам, те ответили револьверным огнем. Перестрелка продолжалась не долго: поняв, что проникнуть в хату им не удастся, бандиты факелами подожгли ее, сарай и конюшню с лошадьми, после чего скрылись. Хозяин хутора чудом уцелел, но

остался на пепелище. В результате нападения ему был причинен ущерб на две тысячи рублей.

В ночь на 6 марта на Новых садах в Екатеринодаре «факельщики» в привычной уже манере напали на дом Матвея Глебовича Чернышенко по 1-й Угловой улице, № 6. После совершения разбоя, завладев имуществом хозяина, бандиты испарились.

Спустя три дня, в ночь на 9 марта, в 3-й части Екатеринодара на Садах за Кругликом, пятеро бандитов, в масках, с револьверами и факелами в руках, напали на дом Акилины Севериновны Поповой по Восточной улице, № 2. С криками: «Стой, ни с места!» — четверо бандитов ворвались в дом (еще один остался снаружи), связали хозяйку и ее работников, после чего забрали два шелковых платья, револьвер, пиджак и деньги. Сразу после этого бандиты совершили аналогичное нападение на близстоящий дом Даниила Ивановича Дуброва. Там они забрали 25 рублей, два золотых обручальных кольца, часы и ружье, после чего сгинули. Затем за городским кладбищем Екатеринодара «факельщики» напали и ограбили Гейнора Чурбоджиева и Николая Порначева, а через несколько дней напали на садоводов, ехавших из станицы Новотитаровской на базар.

В ночь на 18 июня в той же в 3-й части Екатеринодара на Новороссийской улице, неподалеку от маслобойного завода Ивана Аваковича Аведова, бандиты вновь совершили дерзкое вооруженное нападение, на сей раз на домовладение Николая Егоровича Хорошилова. В половине первого часа ночи, когда все спали, жена хозяина Феодора Потаповна Хорошилова услышала раздававшийся во дворе стук. Полагая, что в дверь стучится спавший во дворе их работник Михаил Лукавый, она подошла к двери и отперла ее. К своему ужасу она увидела, что перед ней стоят трое неизвестных громил в масках с горящими факелами в руках. Сообразив в чем дело, Хорошилова попыталась закрыть дверь, при этом закричала, чтобы разбудить свою дочь и домашнюю прислугу, 16-летнюю девицу Анну Потомахину, которые спали в одной комнате с хо-

зяйкой, а также мужа. На крики о помощи спящие подскочили и общими усилиями налегли на дверь, намереваясь не позволить злоумышленникам ворваться в дом, но эта попытка оказалась тщетной. Разбойники сломали дверь и заскочили в дом: двое из них с револьверами ворвались внутрь, а третий, тоже с револьвером, остался у дверей. С целью напугать несчастных жильцов один из них выстрелил, и пуля угодила в левую руку Анне Потомахиной, ниже плеча, и прошла навылет. Феодора Потаповна бросилась к окну, чтобы позвать на помощь соседей, но тотчас была ранена в спину вторым выстрелом и упала, обливаясь кровью. Злодеи стали спрашивать у нее, где хранятся деньги, угрожая убить. Страдая от боли, Хорошилова показала на киот за образами. Разбойники разбили киот с иконой и вытащили оттуда 235 рублей, а затем подступили к стоящему в комнате сундуку. Не имея возможности открыть его, они сломали замок и забрали все деньги, вырученные от продажи молока, а также серьги и брошь стоимостью 15 рублей, а всего — на 415 рублей. В это время Хорошилова, истекая кровью, взмолилась, чтобы ее подняли с пола и оказали помощь. Однако злодеи взяли из сундука простыню, скрутили ее, накинули на шею раненой и принялись душить, но до конца не довели свое гнусное дело. Приказав всем жертвам не выходить до утра из дома, они покинули место преступления. Утром Хорошилову и Потомахину отправили в городскую больницу, где выяснилось, что у первой весьма серьезное ранение: предположительно пуля застряла в позвоночнике. По подозрению в соучастии в нападении сыскным отделением был задержан хозяйский работник Михаил Лукавый, который дал показания, что, хотя и спал во дворе, но никакого шума не слышал.

Екатеринодарские сыщики приступили к розыску банды «факельщиков» 15 июня, и уже через десять дней в Екатеринодаре на постоялом дворе «Петербургских номеров» у Старого базара задержали трех членов банды: казака Ивана Белика (ра-

нее был выслан из пределов Кубанской области как профессиональный вор, но вернулся в город и проживал нелегально), мещанина Григория Балашова и крестьянку Анну Ананкину. При обыске в их дрогах обнаружили два заряженных револьвера «Смит и Вессон», 54 патрона к ним, тряпки с прорезями для глаз, служившие им масками, со следами крови, а также окровавленный платок и кинжал. В ходе дознания все трое были опознаны потерпевшими садоводами из Новотитаровской.

Сразу же после назначения 3 сентября начальником сыскного отделения, Пришельцев возглавил розыск остальных членов банды и их главаря. Совместно с полицейским надзирателями Коржом и Жуковским, и городовым Компанец были задержаны предводитель «факельщиков» Бубырь-Бухановский и еще шесть бандитов. Только 15 сентября 1911 года розыск был завершен: установлено, что «факельщики» совершили 10 разбоев и 22 грабежа в Екатеринодаре, по Кубанской области и даже под Ростовом, в результате которых пять потерпевших были убиты. Из 11 членов банды — 9 было арестовано и предстали перед судом: восьмерых по приговору суда повесили, а еще один был казнен несколько раньше, за участие еще и в другой банде.

В ту пору екатеринодарским сыщикам скучать без дела не приходилось: кражи, грабежи, разбой и убийства в городе шли своим чередом. Вечером 13 февраля 1910 года на Елизаветинской улице был обнаружен труп Власа Вильховченко с разможенной головой. За дело взялось сыскное отделение во главе с Пришельцевым и в ходе дознания сыщики выяснили все подробности этого тяжкого преступления.

...Слесарь чугунно-литейной мастерской Сушкина некий Леонтий Мотченко, 23 лет от роду, как-то раз, гуляя в Городском саду, познакомился с Софьей Кутовой и без памяти в нее влюбился. Родители девушки, прознав о состоявшемся знакомстве и предположив, что их дочь выйдет замуж за Мотченко, у которого не было за душой ни копей-

ки, запретили дочери с ним встречаться. Мотченко был поставлен об этом в известность и в целях заработать деньги на женитьбу поехал в Новороссийск, прихватив своего товарища Власа Вильховченко, проживавшего в Екатеринодаре с родителями на Кузнечной улице в собственном доме. Вскоре Вильховченко засобирался домой, и Мотченко попросил его передать Софье Кутовой письмо.

Выполнив просьбу товарища, Вильховченко и сам ненароком влюбился в девушку, принялся за ней ухаживать и в конце концов предложил ей руку и сердце. Мало того, родители Софьи с радостью дали свое согласие, думая хорошо пристроить свою дочь, ибо, по их мнению, Влас представлял хорошую партию, в отличие от голодранца Леонтия. Не откладывая дело в долгий ящик, молодые обручились и назначили день свадьбы. Слух об этом быстро дошел до Новороссийска, и Мотченко сорвался в Екатеринодар. Здесь он встретился с Вильховченко, и тот покаялся: дескать, был грех, влюбился в твою Софью и скоро у нас свадьба. Мотченко погрузил-погрузил, да и предложил себя на роль шафера на свадьбе. Однако Вильховченко наотрез отказал приятелю в просьбе, разъяснив, что ввиду слухов, что за Софьей раньше ухаживал Мотченко, он не только не возьмет его шафером, но и просит вообще не появляться на их свадьбе, дабы избежать пересудов и кривотолков. Естественно, Мотченко затаил обиду и решил отомстить своему теперь уже бывшему товарищу. С этой целью он уговорил известного в Екатеринодаре хулигана Никиту Редько покончить с Вильховченко, и тот от безделья согласился.

13 февраля Мотченко и Редько встретили на Елизаветинской улице прогуливавшихся Вильховченко и Кутовую. Поздоровавшись со своим бывшим товарищем, Мотченко задержал его руку в своей, и стал разговаривать с ним. В этот момент Редько сзади нанес удар шкворнем Вильховченко по голове и убил его наповал. Кутовая убежала домой, а оба преступника на время залегли в притоне.

Производя дознание, сыщики допросили Кутовую, но та долгое время отрицала свою осведомленность о том, кто убил ее жениха, тем самым дав возможность Мотченко и Редько скрыться из города. И только после предъявления ей доказательств о ее нахождения на месте во время убийства, полученных из агентурных источников, та дала признательные показания. На время ее упрятали в Екатеринодарскую областную тюрьму, основания на то имелись.

В ходе розыска убийц Пришельцевым была получена конфиденциальная информация, что Мотченко вернулся в Екатеринодар, чтобы каким-либо способом выручить Софью, и время от времени отирается возле тюрьмы на Дубинке. Там его и взяли. В ходе следствия выяснилось, что Мотченко, помимо убийства, давно разыскивается по политическому делу: в свое время он принадлежал к партии анархистов-коммунистов, участвовал в экспроприациях и был близким товарищем известного всему Екатеринодару Александра Морозова, застрелившего правителя канцелярии начальника Кубанской области С.В. Руденко, а впоследствии покончившего жизнь самоубийством во время перестрелки с чинами полиции. Когда Мотченко доставили в сыскное отделение для формальных криминалистических действий (дактилоскопия, фотографирование и т.п.), он заявил Пришельцеву, что его «немного опоздали арестовать, так как он находится в последнем градусе чахотки, полученной им от беспорядочного образа жизни, заставившего его скрываться от судебного процесса над анархистами-коммунистами». По некоторым сведениям, вскоре, не дожив до 24 лет, Леонтий Мотченко умер в тюрьме.

Надо сказать, Пришельцев отличался не только умением раскрывать убийства и другие особо тяжкие преступления. Вот характерный пример. 14 мая 1910 года владелец Екатеринодарской технической конторы господин Галь в числе прочей корреспонденции получил письмо, в котором указывалось, что во вторник 18 мая он должен передать 5000 ру-

блей одному из его служащих — Карлу Карскому. Это письмо было напечатано на пишущей машинке и подписано: «Союз Р.Н.». Ознакомившись с ним, Галь тут же отправился в сыскное отделение и предъявил письмо Пришельцеву. Тот принял решение отправить в контору Галя двух сыщиков-городовых, которые предупредили бы нападение вымогателей и задержали их. А владельцу конторы было предложено подготовить указанную денежную сумму для передачи злодеям.

В технической конторе сыщики просидели сутки, но никто за деньгами не явился. На следующий день Галь вновь получил письмо за подписью «Союз Р.Н.», в котором говорилось, что, несмотря на то что Галь сообщил полиции, и та устроила засаду, он все равно должен отдать указанную сумму, о чем его и предупреждают. Галь опять отнес письмо Пришельцеву, который высказал предположение, что это дело рук служащих его конторы. Галь категорически воспротивился подобной версии и заявил, что среди его служащих нет таких, кого можно было бы заподозрить в чем-либо предосудительном. А на следующий день он выехал из Екатеринодара по делам службы.

20 мая в Волжско-Камский коммерческий банк, размещавшийся на Красной улице на втором этаже дома купца Бейма, явился подозрительного вида субъект и предъявил чек, подписанный Галем, на получение 5020 рублей. Кассир банка, обратив внимание на внешность посетителя, обнаружил, что тот загроможден, причем, весьма неудачно. В виду этого, кассир отказался выдать деньги и о случившемся доложил бухгалтеру и помощнику управляющего банком, а загроможденный посетитель, между тем, успел улизнуть. На другой день в банк явился посетитель, представился служащим конторы Галя Карлом Карским и заявил, что в отсутствие хозяина он получил письмо, где говорится, что в контору ворвались злоумышленники и взяли оттуда чек, по которому надеялись получить в банке деньги, но благодаря случайности сделать этого

им не удалось. После этого Карский попросил не выдавать деньги, если с этим чеком кто-либо явится в банк. После этого Карский отправился в сыскное отделение, где передал это письмо с подписью «Союз Р.Н.» Пришельцеву.

Вернувшийся из поездки Галь был вызван в сыскное отделение, где его начальник вновь попросил назвать лиц, на которых могло бы падать подозрения владельца конторы. Однако тот опять заявил, что таких служащих у него нет. Однако проведенным розыском было установлено, что все «вымогательные» письма напечатал Карл Карский и он же, загримировавшись, приходил в банк для получения 5020 рублей. В ходе обыска в его квартире была обнаружена пишущая машина «Гоммонд», и при сличении текстов писем было установлено, что все они напечатаны на данной машине.

Доставленный на Посполитакинскую, № 67 в сыскное отделение, Карский пытался застрелиться из имевшегося при нем револьвера, однако сыщики упредили его желание. В ходе дознания выяснилось, что Карл Карский, помимо работы в конторе Галя, являлся фактически редактором «Театрального листка» (вышло четыре номера), имел жену, двух сыновей 17 и 14 лет и крайне нуждался в деньгах. Препровожденный из сысского отделения в полицейское управление на углу Дмитриевской и Борзиковской улиц, Карский завел по дороге разговор с сопровождавшими его двумя сыщиками-городовыми и, между прочим, спросил, что они будут делать, если он сейчас попытается от них сбежать. Те ответили, что будут без раздумий стрелять в него наповал. Для острастки они надавали ему затрещин и, не будучи склонными к шуткам, взяли его под руки, доставили в кордегардию полиции, а судебный следователь приступил к расследованию вымогательства. Вероятно, Карл Карский упустил из виду, что подобный вид преступлений, с использованием «вымогательных» писем от всевозможных союзов, партий и прочих антиправительственных формаций, был окончательно ликвидирован на-

чальником Екатеринодарского охранного пункта полковником Ф.А. Засыпкиным еще к осени 1909 года...

В конце мая 1910 года Пришельцев раскрыл преступление, из числа нераскрытых убийств прошлых лет, когда еще не было учреждено в Екатеринодаре сыскное отделение. Случилось эта странная история 13 ноября 1907 года: при крайне загадочных обстоятельствах был убит 55-летний Сергей Чалабов, владелец постоянного двора на Бурсаковской улице, № 120.

За несколько минут перед смертью Чалабов сидел у ворот своего заведения и беседовал с дворником по поводу разных хозяйственных дел. Потом, показав одному из приехавших постояльцев, где оставить на ночь лошадь, он отправился в помещение постоянного двора. Вскоре оттуда выбежал испуганный постоялец Поздняков и сообщил дворнику, все еще стоявшему у ворот, что с хозяином случилось что-то неладное: то ли он пьян, то ли умер, поскольку лежит на полу и не подает признаков жизни.

Дворник не поверил словам Позднякова: несколько минут назад он разговаривал с вполне трезвым хозяином и тот не мог так быстро напиться в стельку. Однако пошел в дом глянуть, что там приключилось. Войдя в одну из комнат, он увидел хозяина, лежащего на полу в неестественной позе: в одной руке тот держал кусок колбасы, в другой — ломоть хлеба. Дворник хотел было его поднять, но увидел на рубашке в области груди кровь и послал за полицией. Прибывшая на место происшествия полиция установила, что Чалабов был убит выстрелом из револьвера: пуля прошла сквозь тело навылет и застряла в стене комнаты. Характерно, что никто из постояльцев и обслуги постоянного двора никакого шума и звука выстрела не слышали. А на следующий день на выгоне, за городской скотобойней, был обнаружен труп неизвестного армянина. Вскрытие установило, что смерть наступила от огнестрельного ранения, стреляли из револьвера.

Несмотря на принятые полицией меры к розыску убийц и выяснению мотивов убийств, дело осталось не раскрытым и пылилось в полицейском архиве. И тогда за розыск взялся Пришельцев...

Сын владельца постоялого двора Иван Чалабов время от времени стал подумывать о наследстве, которое останется после смерти отца и перейдет к нему и трем его сестрам. Не желая затягивать с получением наследства, достойный сын вступил в преступный сговор с содержателем гостиницы «Черноморское подворье» Никитой Акоповым, предложив убить своего родителя. Акопов запросил очень приличную сумму, и они начали торговаться. В итоге сошлись на 5000 рублей: на эту сумму Чалабов выдал Акопову вексель, рассчитывая выкупить его после получения наследства.

Владелец «Черноморского подворья» весьма энергично принялся за дело. Он договорился со знакомым армянином-киллером, и тот убил Чалабова-отца прямо в его постоялом дворе. Проникнув туда незаметно, убийца выстрелил в него через толстый матрас, взятый с кровати, когда хозяин ужинал, потому звук выстрела никто и не услышал. После исполнения заказа, армянин положил матрас на прежнее место и также незаметно ушел с постоялого двора, когда там поднялась суматоха, смешавшись с толпой постояльцев. А на следующий день Акопов заманил армянина-киллера на выгон и там застрелил его, избавившись от ненужного свидетеля (по современной терминологии — «зачистился»).

Итак, дело было сделано: Чалабанов-сын получил наследство, продал отцовский постоялый двор и через брата своей жены Сергея Назарова постарался выкупить вексель у Акопова. Причем им овладела неумная жадность — никак не хотел расставаться с такой большой суммой (напомним, 5000 рублей), и он выторговал у Акопова сумму намного меньшую — 500 рублей за вексель. А потом внезапно, одна за другой начали умирать его родные сестры-наследницы. Последняя, третья сестра, умерла в мае 1910 года. При этом все сестры перед

смертью тяжело и быстро течно болели какой-то неизвестной болезнью. Единственным законным наследником остался Иван Чалабов.

Будучи задержанным, он сознался Пришельцеву в совершенных преступлениях и указал на Акопова как исполнителя убийства отца. Однако привлеченный к дознанию Акопов виновным себя не признал и дал показания, что действительно Иван Чалабов попросил убить своего отца, но он, Акопов, в убийстве участия не принимал. Якобы к убийству причастны двое армян, проживавших в его «Черноморском подворье», приехавших из Сочи после совершения какого-то грабежа. Они подговорили третьего армянина, который и совершил убийство, после чего двое армян его застрелили на выгоне, заметая следы. После передачи дела судебному следователю, вина Ивана Чалабова и Никиты Акопова в совершении преступлений была доказана в полном объеме, и они предстали перед судом...

В июле 1910 года Пришельцев с сыщиками приступил к розыску так называемой банды «Степных дьяволов», одной из самых многочисленных и безжалостных на территории Кубанской области в то время. Трудность с установлением ее членов и их задержанием крылась в том, что банда была раздроблена на более мелкие, как сказали бы сейчас, организованные преступные группы со своими вожаками. Достоверно было установлено, что «Степные дьяволы» совершили 27 разбойных нападений, в ходе которых убили или ранили 41 человека. В результате розыскных действий по области сыщики во главе с Пришельцевым задержали 75 бандитов, включая 17 лидеров и предводителя банды Филиппа Миханова: 64 активных членов банды были заключены под стражу в тюрьму, а 11 второстепенных членов — переданы под надзор полиции. Чтобы представить степень жестокости бандитов, приведем пример одного из нападений, от которого в то время стыла кровь в жилах у населения Кубани.

В ночь на 14 марта 1911 года «Степные дьяволы» напали на хутор немецкой семьи Конрада Гиля

в юрте станицы Новолеушковской Ейского отдела. Самого 50-летнего хозяина они сразу пристрелили, а потом устроили допрос его 26-летней замужней дочери Екатерине Кринвальд, с целью выяснить, где спрятаны семейные деньги. Поскольку никаких денег на хуторе не было, она так и ответила бандитам. Тогда на ее глазах душегубы стали пытаться членов ее семьи, желая выяснить место хранения денег, и поочередно задушили ее шестилетнюю сестру Макриду Гиль, тридцатилетнего мужа Прокофия Кринвальд, пятилетнего сына Якова, двухлетнего сына Адама, четырехлетнюю дочь Христинию и рожденную три дня назад, еще не крещеную дочь, а также 16-летнего работника на хуторе Якова Мельхер. В конечном счете, не добившись ответа, нелюди задушили и Екатерину Кринвальд, после чего скрылись. В живых чудом осталась жена хозяина Регина Гиль (она успела спрятаться) с 13-летней дочерью Езизаветой, которую бандиты посчитали задушенной.

В ходе розыска по банде «Степных дьяволов», сыщики не оставляли без внимания и другие преступления, совершенные в Екатеринодаре. Так, 1 сентября 1910 года на берегу Кубани был обнаружен зверски изрубленный труп некоего Алексея Непьющего. По подозрению в убийстве сыскным отделением был задержан некто Кочубей, казак станицы Холмской. На допросе он показал на своего друга, «какого-то кацапа». Сыщики выяснили, что этот «кацап» не кто иной, как бежавший 12 августа из Новороссийской тюрьмы арестант Дмитрий Ефимцев. Начался его розыск, и вскоре тот был задержан на хуторе Тихорецком, где проживал по чужому паспорту на имя Лужского мещанина Ивана Бельчинникова. Доставленный в Екатеринодар Ефимцев сознался, что он принимал участие в убийстве Непьющего, пояснив, что преступление совершил по предложению Кочубея, за что получил 25 рублей. В ходе дознания выяснилось, что 25 сентября 1908 года Ефимцев, отбыв наказание два с половиной года в Харьковском исправитель-

ном отделении за кражу со взломом из жилого помещения, по освобождении избрал своим местом жительства станицу Баканскую и на другой же день после освобождения был вновь арестован за кражу, опять таки со взломом, и приговорен к одному с половиной году тюрьмы. Отбывал наказание в Новороссийской тюрьме, откуда сбежал и совершил убийство. Ефимцев был передан в распоряжение судебных властей.

30 января 1911 года Пришельцев совместно с Коржом выявил шайку воров-взломщиков, состоящую из 14 человек, из которых 8 активных ее членов были арестованы. Шайка совершила пять краж из домовладений на общую сумму 370 рублей; ко 2 февраля все похищенное было обнаружено и возвращено владельцам. Попутно были установлены шесть «приемщиков краденного», которых также привлекли к уголовной ответственности. Тогда же, в начале февраля, те же сыщики выявили и задержали еще одну шайку воров-взломщиков, состоящую из 10 человек, совершившую также пять краж из домовладений на сумму 1950 рублей. 8 февраля похищенное имущество было изъято и возвращено потерпевшим. А 28 сентября того же года Пришельцев и Корж раскрыли убийство с целью грабежа персидско-подданного Муталиба Халил-оглы, труп которого был обложен дровами и подожжен.

В начале мая 1912 года Пришельцев получил агентурную информацию о готовящемся разбойном нападении на лавку при пекарне Михаила Васильевича Обухова на углу Базовской и Кирпичной улиц в Екатеринодаре. Преступление намеревались совершить трое вооруженных револьверами и кинжалами турецко-подданных из портового города Ризе. Начальник сыскного отделения спланировал операцию по их захвату и привлек к ней не только своих сыщиков (полицейских надзирателей Коржа и Жуковского, городских Гончарова, Компанец, Вольского и Ляхова), но и чинов городской полиции: помощника пристава 1-й части Григониса и городского Салова, а также городских 3-й части

Кочетова и Зайцева. Затаившись в засаде вокруг помещения пекарни, они принялись ждать. Вечером 5 мая в лавку при пекарне зашли трое: Мамед Кара-Ахмед-оглы (32 года), Мустафа Гасан-оглы (29 лет) и Ахмед Дали-Балта-оглы (19 лет). С криком «руки вверх!» и угрожая револьверами, они потребовали у кассира Ефимова и конторщика Канишева выручку. В это момент Пришельцев подал сигнал к задержанию разбойников, но те успели выскочить на улицу и открыли стрельбу по участникам группы захвата, в результате чего легко ранили прохожего Дмитрия Яковлева. Несмотря на ожесточенное сопротивление, сыщикам удалось задержать всех нападавших живыми. 2 ноября 1912 года разбойники предстали перед Временным военным судом под председательством генерал-майора Шмерлинга, который приговорил всех троих к смертной казни через повешение. 13 ноября того же года главным командующий войсками Кавказского округа граф И.И. Воронцов-Дашков приговор утвердил, но с заменой смертной казни для всех бессрочной каторгой.

Вскоре после операции по захвату разбойников в пекарне Обухова случилось происшествие, которое взволновало екатеринодарцев: 16 мая 1912 года на углу Красной и Соборной улиц начальник Екатеринодарского сыскного отделения Александр Петрович Пришельцев едва не приказал всем долго жить. На него сзади наехал на велосипеде № 312 содержатель мебельного магазина Федор Филиппович Синолицин, который сшиб с ног главного городского сыщика, причем, тот едва не попал под трамвай, с которого только что сошел. Бог миловал: Пришельцев получил только травму в виде ушибов правой руки и левой ноги. Доктор Рудин, осмотревший телесные повреждения, предположил длительное лечение на срок не менее шести недель. Однако сыщик лечился и того дольше: на службу он вышел только 30 июля. Естественно, велосипедиста сразу же заподозрили в умысле — уж больно многим местным бандитам и убийцам Пришельцев перешел до-

рогу. Некоторое время с Синолициним «поработали» в сыском отделении, да и отпустили с богом: тот отделался лишь легким испугом, поскольку был виновен только в нарушении правил передвижения на велосипеде по городу. Но свидетельство на право велосипедной езды у него навсегда отобрали, а номерной знак скрутили...

В том году сыскное отделение под руководством Пришельцева плодотворно поработало. Была задержана шайка «подделывателей и сбытчиков фальшивых кредиток 100 и 25 рублей», которыми они наводнили Кубанскую и Терскую области, а также Ставропольскую губернию. Был установлен и задержан беглый каторжник Шевченко-Шейкин, который разыскивался с 1907 года за убийство полицейского урядника Сухова в Усть-Медведицком округе области Войска Донского, а также задержан член шайки разбойников Осипов за убийство своего приятеля Демидова, из опасения, что тот их сдаст полиции; всего из семи убийств было раскрыто пять. ■

*Полный вариант читайте
на сайте журнала rkuban.ru*

ГОСТЬ НОМЕРА

Наталья Возжаева





«МЕНЯ ВДОХНОВЛЯЕТ ЖИЗНЬ...»

Интервью Валерии Бельтюковой с Натальей Возжаевой

В.Б.: *Добрый день, Наталья! Я очень удивилась, когда узнала, что Вы пишете стихи с 2018 года. Многие современные поэты, не будем называть имен, занимаются поэзией десятилетиями, однако не все из них умеют писать действительно качественные стихи. Как Вы в зрелом возрасте открыли в себе литературные способности?*

Н.В.: Добрый день, Валерия! Позволю себе заметить, что до сих пор не уверена, что мои стихи настолько «качественные», чтобы я могла спокойно пропустить данную характеристику. Читением я увлекалась всегда. Надо отдать должное моим родным, на книги денег в моей семье не жалели. Всё, что стояло на полках, было перечитано мной ещё в «нежном» возрасте. И никому в голову не приходило «закинуть на антресоль» «Крейцерову сонату» Льва Толстого или «Яму» Александра Куприна. Но началось моё путешествие длиною в жизнь по литературному миру, конечно же, со сказок Александра Сергеевича Пушкина. Самые беспроектные инвестиции — это вложения в образование, а книги — важнейший его этап. В школе сочинения писала лучше всех, всегда было что сказать, но не всегда вмещалась в рамки: там, где надо было два листа, Наташа «растекалась» на пять-шесть. Но стихи не писала. К сожалению, школьная программа того времени умело обходила сильнейшую лирику, ограничиваясь идейными текстами. Позже мне подарили сборник стихотворений Бориса Пастернака и ...началось.

*Мне снилась осень в полусвете стекла,
Друзья и ты в их шутовской гурьбе,*

*И, как с небес добывший крови сокол,
Спускалось сердце на руку к тебе...*

Первое моё стихотворение было написано, как водится, лет в 15:

*Ветер запутался в густых листьях тополя.
Ночь задула остатки дня.
Счастье, золотыми подковами топая,
Вновь промчалось мимо меня...*

Было ещё несколько, но на этом всё прекратилось. Видимо, надо учесть биографический аспект, если проще — проза жизни победила. Война в Чечне, переезды по всей стране, борьба за выживание — всё это было далеко от стихов. Даже если что-то изредка и писалось, то оно безвозвратно утеряно. А вот сейчас появилось время и есть возможность прислушаться к себе.

В.Б.: *Недавно Вы презентовали свой первый сборник стихов «Струнность ливней». Планируете издавать второй сборник?*

Н.В.: Да, планирую издавать ещё один сборник. Я считаю, что сборник «Струнность ливней» — это дебют. Тот, который был издан ранее, воспринимая как черновой вариант. Он отовсюду изъят.

В.Б.: *На презентации Вы сказали, что редактор Л.Н. Хорева оказывает большое влияние на Ваше творчество. Людмила Николаевна также помогла Вам издавать сборник. У Вас были разногласия с редактором?*

Н.В.: Когда совпадают соотношения уровня грамотности и профессионализма поэта и редак-

тора, тогда получается плодотворный, замечательный тандем. Существует авторская «слепота». Я пишу, используя свои эмоции и свою лексику. Редактор это видит внешне, поэтому, конечно, какие-то споры у нас были. Я настаивала со своей стороны, а Людмила Николаевна — со своей. Но мне очень нравится, что в итоге мы пришли к согласию. Людмила Николаевна оказала мне большую помощь тем, что она полюбила мою книгу и способствовала тому, чтобы мое творчество выставить в более выгодном свете.

В.Б.: Наталья, кто является Вашим первым критиком, слушателем, кто поддерживает Вас?

Н.В.: Тут следовало бы красиво ответить, что моим первым слушателем и вдохновителем является мой близкий человек, муж. Но ...нет. Человека, столь далёкого от поэзии, как он, пожалуй, в своём окружении и не знаю. И это хорошо, поэтому мы столько лет вместе: наша «разность» не разобщает, а дополняет друг друга. Во времена социальных сетей достаточно выложить текст на всеобщее обозрение, как появятся и слушатели (читатели), и критики, и псевдокритики. А если серьёзно, то, безусловно, у меня есть несколько авторитетных для меня людей, суждениям которых я доверяю и к мнению которых прислушиваюсь. Одним из таких авторитетов для меня является Надежда Вениаминовна Коган — великолепный поэт, прозаик, литературный критик и судья международных поэтических конкурсов. Её творчество влюбляет в себя сразу и навсегда. Мне было удивительно и очень приятно, когда Надежда Вениаминовна предложила мне написать аннотацию на мой сборник «Струнность ливней». Этот сборник дал мне возможность познакомиться ещё с одним значимым для меня человеком — Людмилой Николаевной Хоревой. Из взрывоопасного сочетания автор — редактор в нашем случае получился дружеский тандем. Образованные, тонкие, чуткие и тактичные люди — это редкий дар, который преподносит жизнь. Есть несколько современных авторов, кому я с интересом и удовольствием доверю свои

стихи, чтобы получить конструктивную и полезную критику.

В.Б.: Вы часто участвуете в литературных конкурсах. Расскажите подробнее об этом.

Н.В.: Первый раз я участвовала в конкурсе «Кубок мира по русской поэзии» в 2019 году. Одному Богу известно, на что я рассчитывала, будучи совершенно «сырым» автором, не имеющим ни малейшего понятия, с кем мне придется конкурировать. Естественно, никуда не прошла, но получила приглашение в журнал «Тропы». Там и опубликовано моё скромное стихотворение «Ижицы». Казалось бы, что после такого «щелчка по носу» надо быть скромнее, но неожиданно для себя открыла совершенную прелесть таких конкурсных площадок: обсуждения. Умные, живые, резкие, едкие и конструктивные обсуждения. Это заставляет «спуститься с небес на землю», трезво оценить свои тексты и начать работать над каждым словом. На следующий 2020 год подала свою подборку туда же и вышла в лауреаты (лонг-лист) — а это уже кое-что. В прошлом же году подавала подборку на конкурс «45 калибр» на портале «45 параллель» — вышла в финал. Получила приглашение разместить свои стихи в разделе авторов «45 параллели». Это тоже значимый момент для меня. Финал праймериза на Стихи.ру, приглашение на «Турнир поэтов». Я перечисляю всё это только потому, что Вы спросили. На самом деле, я считаю, что конкурсы очень сильно «закаляют перо», если можно так сказать, дают возможность почувствовать свой вес (или отсутствие его) как автора, но, и это главное, знакомство с потрясающими стихами и полное погружение в поэтический мир.

В.Б.: В Вашей семье кто-то занимался литературой (родители, бабушки, дедушки)?

Н.В.: Непосредственно литературой в нашей семье не занимался никто. Но культ книги, несомненно, существовал. Помню, что бабушка даже выписывала «Литературную газету» и журнал «Юность».

В.Б.: Кто Вы по образованию?

Н.В.: Поступала я в ЧИГУ (Чечено-Ингушский государственный университет), а вот заканчивала уже РГУ (Ростовский государственный университет). В моём дипломе красиво выведено «филолог, преподаватель русского языка и литературы», но знания без применения чахнут, потому и восполняю сейчас пробелы, нанесённые временем — вспоминаю забытое, узнаю новое.

В.Б.: Отдельное место в Вашей лирике занимает тема войны в Чечне. Стихотворение «Сволочи» Вы начинаете такими строками:

Грозный город. Ливневая струнность.

В горной речке — красная вода.

Ты мне подарил седую юность,

Мне теперь и старость не беда.

Сколько Вам было лет, когда началась война?

Расскажите подробнее об этом периоде жизни и о том, как он отразился на Вашем творчестве.

Н.В.: Если позволите, я не буду «подробно» отвечать на этот вопрос. Ничего приятного в таких подробностях нет, да и ни к чему. Слово «война» говорит само за себя. В подъезде нашей пятиэтажки в городке Маяковского на первом этаже жили ингуши, на втором — чеченцы, на третьем — мы, русские, на четвертом — татары, на пятом — украинцы. Хорошо жили, дружно. Детей друг другу доверяли, Пасху и Уразу тепло отмечали, поздравляли друг друга, угощали. А потом пришли люди в форме и объявили нас врагами. Многие поверили. На этой вере кто-то заработал деньги. У войны удивительное свойство показывать кто есть кто. Бабушкин дом стёрт с лица земли. В нашей квартире живут чужие люди. Могилы другой бабушки и двух дедов не сохранились. Мне было 22 года, когда я в последний раз смотрела на Грозный.

В.Б.: Вы сказали, что во время войны в Чечне некогда дружественные народы стали друг другу врагами. Негласно эта война продолжается?

Н.В.: После отравления токсины долго ещё остаются в крови. Достаточно включить телевизор, чтобы понять, что война эта не закончится никогда. Перемирие возможно.

В.Б.: Должен ли поэт чувствовать природу общественных, политических волнений или искусство всегда вне политики?

Н.В.: Думаю, что не стоит перечислять тут череду фамилий тех поэтов (и не только), кого перемололи жернова политических мельниц. Кстати, у Зинаиды Гиппиус есть прекрасная статья/доклад именно на эту тему «Политика и поэзия». Читала несколько лет назад, ещё тогда поразила актуальность некоторых моментов. Вот, к примеру: «Сегодняшнее звено этой цепи, — наша современность, — очень благоприятствует пересмотру отношений между политикой и поэзией. Сегодня особенно неразличимы границы политики; стерлись, размазались, — если не всегда были, как экватор и меридианы, линиями воображаемыми». И это «сегодня» продолжается. Или: «Беру лишь главное, общее, но и его довольно, чтобы увидеть: настоящему поэту нужны атрибуты политика. Поскольку в поэте есть и политик, постольку он настоящий поэт». Настоящий поэт не может существовать вне социума. Даже если он и не стремиться быть с ним (социумом) в тесном контакте и существует, всё же, несколько «над». Другой момент — это то, что поэт «копит» в себе и высказывается только тогда, когда нет сил терпеть. А графоман «выплёскивает» при каждом удобном случае. Пожар в Нотр-Дам де Пари (к примеру) вызвал такое «цунами» стихков в соцсетях, что у меня было стойкое ощущение того, что именно «поэты» его и подожгли. Где-то (не помню, к сожалению) мной было прочитано, что поэт — это зритель со стороны, не борец. Я бы поспорила с этим утверждением. Борьба подразумевает не только кулаки, не так ли?

В.Б.: В стихотворении «Сволочи» также есть строка: «У войны совсем не бабий лик». Откровенно говоря, и у Вашего творчества «совсем не бабий лик». Ваша лирика отличается резкостью, которая, наверное, связана с пережитыми Вами потрясениями. Вы и в повседневной жизни резкий человек?

Н.В.: Надеюсь, что поняла формулировку «резкий человек», правильно. Если иметь своё мнение, если уметь его аргументированно обосновать, если не являться жертвой стереотипов и не следовать слепо неким общим авторитетам — это признак «резкости», то — да! — я резкий человек. Особенно, когда дело касается просьб начинающих авторов «высказаться об их творчестве». Тут я предпочитаю говорить всё как есть, но строго соблюдая границы и подтверждая свои слова аргументами. В таких диалогах очень важно не «сломать крылья», не навредить, а подсказать полезный вектор. Давать характеристику себе всегда сложно, если не страдаешь повышенным самомнением. Ташу домой всю несчастную живность (котов, собак, даже голубь был), чтобы накормить и пристроить, не умею проходить мимо чужой беды, ценю жизнь во всех её образах. Вот у меня всё лето в беседке провисел большой паук — рука не поднялась смахнуть или, ещё хуже, шлёпнуть. Назвала Игорем, и надо мной потешались все друзья.

*В.Б.: У вас есть строки:
Больное море. Это мне знакомо.
Тут каждый вздох мне близок и знаком.
И я болею слякотной зимой,
И мне, привыкшей, не хватает снега.
Вымаливать, как милостыню с неба,
Бреду на пирс, пустынный и прямой.
Уже много лет Вы живете в Новороссийске, где
«каждый вздох близок и знаком». Однако в Ваших
стихах часто слышен мотив тоски по малой родине
 («...нам ампутировали родину./Вот нет её,
а всё болит, болит...»).*
*Есть ощущение, что Кубань так и не смогла за-
менить Вам «ампутированной родины». Так ли
это?*

Н.В.: Нет, не так. Тут к месту будет аналогия Родины с матерью. Мать всегда одна. Все остальные — мачехи. Но мачехи бывают разные. Моя приняла меня радушно, с теплом и лаской, кормила, поила, хранила и оберегала. Я полюбила её и безмерно благодарна ей за всё.

В.Б.: Как вы считаете, можно ли разделить современную поэзию на «женскую» и «мужскую»?

Н.В.: Мне претит гендерность в этом вопросе. Равно как и феминитивы. Женщина-поэт — звучит. А вот «поэтесса» — позвякивает бусами и поцокивает каблуками. «По деревням встречаешь их нередко; / Я не люблю их толстых, бледных лиц, / Иная же — помилуй бог — поэтка». И. Тургенев. И — нет! — я не феминистка. Но я не открою ничего нового, сказав, что фраза «Ты не поэтесса — ты настоящий поэт» до сих пор является своего рода похвалой. Пускай меня лучше называют «женщина, которая пишет стихи», чем «поэтесса».

В.Б.: Астахова собирает полные залы, в ее аккаунте в «Инстаграме» почти полмиллиона подписчиков. Иногда кажется, что в наше время ее стихи лучше знают, чем творчество классиков. Лирика Астаховой — примитивная, поверхностная. Язык скудный, образы практически отсутствуют. Чтобы не быть голословной, приведу пример:

*Если дом опустел — не бойся покинуть дом.
Если город не тот — решайся и двигай прочь!
Если ленишься ты — все дастся с трудом,
И никто и ничем не сможет тебе помочь.
Как думаете, чем обусловлена популярность такой примитивной поэзии? Повсеместная деградация культурного уровня или насильственное внедрение в массы таких авторов?*

Н.В.: Я слышала лучшее, поэтому меня нельзя заставить слушать плохое. Всё дело в отсутствии альтернативы. Не нужно думать о людях плохо, им надо предоставить выбор. Но не покривлю душой, если соглашусь с тем, что постсоветское образование сильно опустило интеллектуальную «планку». В.М. Жирмунский в «Теории литературы...» так сказал об О. Мандельштаме: «Круг его поэтических интересов слишком своеобразен, он требует от слушателя слишком больших книжных знаний и слишком повышенных культурных интересов для того, чтобы можно было предсказать его стихам широкую популярность». Понимаете, о чём я? Не знать чего-то — не стыдно, стыдно не хотеть

знать. Доступность в творчестве расширяет диапазон почитателей, некоторые авторы успешно этим пользуются. Но не все рифмованные строки — стихи, и не все стихи — это поэзия. Надеюсь, что интеллект снова «войдёт в моду», а с ним и хороший вкус ко всему, действительно прекрасному. А пока остаётся наблюдать, как народ наедается фастфудом, вред которого рано или поздно о себе заявит.

В.Б.: *Есть ли вообще будущее у качественной поэзии в цифровом обществе или грамотные, умные стихи обречены затеряться в информационном потоке?*

Н.В.: Поэзия (в правильном понимании этого слова) была, есть и будет. Голос её то тише, то громче, в зависимости от перекрывающего его вопля графомании (псевдопоэзии). Эти два потока параллельны и никогда не пересекутся. К большому сожалению, сейчас у нас век монетизации таланта. Ценность автора определяется не глубиной его творчества, а количеством подписчиков, яркостью скандалов, степенью эпатажности. Такое хорошо продаётся. Место на Парнасе сейчас может купить любой Вася Пупкин. Тот же Вася Пупкин может легко стать членом Союза писателей. В своё время меня шокировало количество «шедевров» в альманахе «Поэт года 20...». Как такое прошло в сборник? Потом я поняла как. Пока поддерживается такой формат общения автор-издательство — поэзия тихо стоит в стороне, ибо не место ей на рынке.

В.Б.: *Как можно охарактеризовать современного читателя?*

Н.В.: Как мне кажется, современный читатель сейчас живёт по принципу (если не вдаваться в подробности этого высказывания Канта) «прекрасно то, что нравится независимо от смысла».

В.Б.: *На Ваш взгляд, какая цифровая площадка («Стихи.ру», «Инстаграм», «ВКонтакте» и т.д.) наиболее удобна для продвижения поэзии?*

Н.В.: Любая. Там, где можно «продвинуть» пиццу или средство для волос, там можно «про-

двинуть» и поэзию. Я понимаю, что существуют элитные издания: журналы, альманахи, газеты; но презрение ими таких площадок, как «Инстаграм», приводит просто к «свободной нише», которую тут же займут графоманы. Весь вопрос в том, насколько грамотно продвигать поэзию и какую аудиторию собирать (хотя последнее напрямую зависит от качества поэзии)). «Стихи.ру» я использую больше как хранилище и черновиков тоже. А вот всеми ругаемый «Инстаграм» не так уж и плох, если вы не гонитесь за количеством «лайков» и подписчиков и с маниакальным упорством продолжаете гнуть свою линию и предлагать читателю качественную пищу для ума.

В.Б.: *А чье творчество вдохновляет Вас?*

Н.В.: Меня вдохновляет жизнь, а восхищает творчество авторов-современников, таких как Надежда Коган, Виталий Мамай, Елена Касьян (огромная потеря для мира поэзии, автор рано ушла из жизни), Марианна Боровкова, Игорь Бирюков, Юрий Глухов и другие прекрасные поэты.

В.Б.: *Ваш любимый прозаик? Вы знакомы с современной прозой?*

Н.В.: На прозу у меня сейчас, к сожалению, времени не хватает. Да и предпочитаю классику. Надеюсь, летом наберу книг, выпаду из общества на пару недель и восполню пробелы в этой сфере.

В.Б.: *Вернемся к презентации Вашей книги. Вас пришли поддержать Ваши ученики, которые читали свои стихи. Одному из них, если точнее, Денису Фисенко, Вы сказали, что «он вырос». Получается, можно научиться писать стихи или необходимо иметь дар свыше?*

Н.В.: У меня учеников как таковых нет. Есть люди, которые, видимо, следуют моим советам. Выносят из них какое-то рациональное зерно для себя, и я этому очень рада. Можно научить технической стороне, можно направить, читая теорию литературы, теорию стихосложения. Стихи можно научиться писать, но будет ли это поэзия?

В.Б.: *Что посоветуете начинающим поэтам?*

Н.В.: Читать как можно больше, расширять свой кругозор, не пренебрегать историей и теорией стихосложения, не пренебрегать рутинной работой над словом. Как часто в соцсетях мне попадаются аккаунты, хозяева которых прямо и недвусмысленно информируют зашедшего к ним читателя, что они «поэты», и лауреаты, и номинанты, и победители! Начинаешь читать — мама дорогая! Вот у одного такого я и прочла чудесную рифмопару «Ложит — гложет». Не люблю и не принимаю категорически обценную лексику в поэзии. Но признаю, что талантливый автор может позволить себе такое вкрапление в рисунок текста, и текст от этого не потеряет, а приобретёт. Но тот же талантливый автор прекрасно может и обойтись без этого

заменяемого пазла, потому что он (пазл) не является несущей конструкцией. К сожалению, многие начинающие поэты не понимают этого нюанса. Помню, смотрела выступление автора на одном «квартирнике». Вышла девушка, почти ребёнок, с лицом васнецовской Алёнушки, набрала воздух в лёгкие и ангельским голосом выдала текст-симбиоз пьяного сантехника и привокзального бомжа. Успех был ошеломительный. Далее она пообещала прочитать что-либо ещё в этом роде, но уже топлесс, называя всё это новаторством в поэзии. Эпигонство не есть плохо, плохо, когда его обзывают новаторством. Я не называю себя поэтом. Это не ложная скромность и не кокетство. Это понимание крутизны и неприступности той скалы, всего лишь у подножья которой я стою. ■





«ВЕЛЕНЬЮ БОЖИЮ, О МУЗА, БУДЬ ПОСЛУШНА...»

Беседа Олега Шульги с Анатолием Байбородиним

О.Ш.: Здравствуйте, Анатолий Григорьевич! Когда читатель открывает произведения, написанные Вашей рукой (не обязательно даже художественные, но и публицистические), он сталкивается с богатейшим русским языком, с цитатами из просто-народного творчества. Видно, что Вы являетесь искренним сторонником крестьянской культуры, довольно часто ссылаетесь на таких народных авторов, как Ирина Федосова, Марья Кривополенова и др. Первый вопрос хотелось бы задать о том, как Вам удалось не просто сохранить, но и использовать в творчестве эту особую певучесть народного языка?

А.Б.: Дорогой друг, вопросы старинные, на кои я посильно ответил в статьях и очерках о народно-православной, суть крестьянской, этике, эстетике и народной речи. А посему, чтобы беседа вышла осмысленней, живей и ярче, буду обращаться к своей публицистике. Напомню, очерки и статьи увидели свет в толстых журналах, на литературных сайтах, вошли в две мои книги публицистики — «Сокровища Сибири» и «Слово о роде и народе» — кои вышли в издательстве «Вече».

С полвека назад после стилистических метаний я осознал великую мудрость и великую красу русской народной речи, и, чтобы не пересказывать вы-

ношенное, выстраданное, усердно запечатлённое в сочинениях, приведу фрагмент из очерка «Слово о русском слове».

«Величайший художник всех времён и народов напишет гениальный пейзаж — река, приречная поляна в разноцветье-разнотравье, а за рекой в сизой дымке таёжные хребты, увенчанные облаками, а выше — синь небесная, — запечатлеет се живописец, но лишь робко коснётся душой и живописным даром таинства природы; природа же — Творение Божие, будучи во сто крат гениальнее самого гениального рукотворного пейзажа, — останется неизъяснимой тайной, что не вмещается в земную душу. Воплощённая в устном поэтическом, прозаическом слове — в былине и песне, в житийном мифе и заговорной молитовке, в причитании и сказке, в бывальщине и быличке, в кружевном речении и присловии, в пословице и поговорке, — двухтысячелетняя русская народная, суть, крестьянская, языковая стихия всегда будет неизмеримо гениальнее самой гениальной стилистики самого великого книжного поэта. Как беспомощны краски перед природой — бедные и бледные, так и бессильно книжное слово перед исконным крестьянским — серое и квёлое. Недаром чародей поэтической речи, сплётший устное и письменное слово, выдающийся русский писатель Борис Шергин с грустью вздохнул: “Русское слово в книге молчит... Напоминают ли нам о цветущих лугах засушенные меж бумажных листов цветы?”»

У Пушкина, гения всех времён и народов, руки опускались перед крестьянским словом, из чего следует, что народное поэтическое слово, в гениальности превосходя не токмо Пушкина, но и всю классическую прозу и поэзию, — суть произведения, созданные всем русским народом соборно, и доводились до ума и божественного духа долгими веками».

Пушкин скорбел о том, что народная языковая стихия непосильна дворянским писателям; и скорбь свою выразил Владимиру Далю: «Сказка сказкой, а язык наш сам по себе; и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как это сделать?.. Надо бы сделать, чтоб выучиться говорить по-русски и не в сказке... Да нет, трудно, нельзя ещё!

А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! А не даётся в руки, нет [1]».

Есть и особая ветвь речевой народности — великая поэзия Святого Писания, что на церковнославянском языке, горне умудряющая и божественно украшающая устную и письменную русскую речь. Впрочем, русский фразеологический словарь на две трети из библейских фразеологизмов...

Беда постсоветского российского «искусства» в том, что на его престоле четверть века властвуют откровенные либо потаённые русофобы, которые выбросили с корабля подлой современности понятие народности, в согласии с которой веками оценивалось мирское искусство, и особо литература. Горе постсоветской литературы в том, что, величавая русской художественной, проза и поэзия стали утрачивать русскость, — то есть народность, над воплощением в творчестве и теоретическим обоснованием коей бились Пушкин, Гоголь, Достоевский и прочие славянофилы, спорившие с западниками, а потом и советские писатели и теоретики литературы. А народность — не столь кислые щи, квас да онучи, сколь — правдивое, с любовью во Господе, искусное выражение народной души, где и кислые щи не помеха. Нынешняя «русская» литература, увы, вместе с народностью стала терять и художественность — мусорным потоком хлынул политический, социальный, интеллектуальный журнализм, заплёскиваясь даже в творчество писателей, вроде и русских по убеждениям.

О.Ш.: Чтобы составить такое произведение, как «Русский месяцеслов», автор должен обладать совершенной христианской культурой. Или другими словами — культурой «русского народного христианства». Но в нескольких беседах Вы признаётесь, что в студенчестве были поклонником Диккенса, Фолкнера и других англо-саксонских «модных» писателей. В какой период жизни в Вашем мировоззрении произошёл окончательный разрыв с «богемой»?

А.Б.: Из университета я, деревенский уроженец, вышел Иваном, не помнящим родства, возвращённым на Апулее с его «Золотым ослом», на любострастном «Декамероне» Боккаччо, на Булгакове, Зощенке,

Олеше, Бабеле, Ильфе-Петрове и подобном, модном в мои университетские годы. Слава Богу, что потом читал и выдающихся иноземных писателей — Диккенса, Фолкнера, Маркеса, Амаду... А ближе к тридцати годам стал постигать и русскую классику: Пушкин с гениальной лирикой и крестьянскими сказками, с повестью «Станционный смотритель», Гоголь с малороссийскими сказами, Достоевский с проповедью юродивости Христа ради, с глубинным мистическим постижением души, с христианской русскостью, Лесков как великий предтеча «деревенской прозы», следом — Шмелев, Шолохов, Есенин, Клюев, а потом — и сама «деревенская проза», в которую я постепенно влился.

Позже, затмевая сочинения писателей, в мой творческий мир властно вошла устная народная поэзия и проза, воплощённая в календарно-обрядовых действиях, в эпосе, в былинах и песне, в житийном мифе и заговорной молитовке, в причитании и сказке, в бывальщине и быличке, в кружевном речении, в пословице и поговорке. Повесть «Деревенский бунт», по которой названа книга, — попытка в стиле сказочного лубка, в духе комедийного фарса отобразить российскую политическую картину лихих девяностых годов прошлого века. С той поры мою народную прозу книжные писатели обвинили в этнографизме, фольклоризме, словесном орнаментализме, а я воспринял хулу, словно похвалу.

И одновременно с народным искусством слова, обряда, музыки, изображения постигал и Святое Писание, вначале умом и творческим воображением, как свод великих книг, а позже и покаянной душой. Христианские воззрения круто изменили мои взгляды на земную реальность, а значит, и на мирскую литературу, художественно отображающую земное обитание человека. Ибо литература, как и всё мирское искусство, за малым исключением, опирается на мудрость мира сего, мудрость человеков, что в христианском понимании — безумие, поскольку христианство видит истину лишь в мудрости горней, не от мира сего, то есть, не в человеческом мечтании, но в божественном промысле. Апостол Павел поучал: «...Мудрость мира сего есть безумие пред Богом» (1 Кор. 3: 19).

Но и для дольней (земной) мудрости, на которую за малым исключением опирается мирская литература, безумна горняя (божественная) мудрость. Не говоря уж о западной литературе, в каких сочинениях русской словесности «золотого» и «серебряного» можно вычитать подобное: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5: 44), «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом» (Мф. 20: 26, 27).

И с годами, погружаясь в православный мир, я dospел, что мировоззрение вне православия, воплощаемое в искусстве, — смертельно опасное блуждание, когда художник-поводырь в кромешной тьме без фонаря громкогласно ведёт толпу... в пустоту, а то и в адскую пропасть. Писатель, подобно священнику, подобно институтскому и школьному преподавателю истории и литературы, ответит пред Богом за свою душу и за души прихожан, студентов и учеников.

Обезбоженная мирская литература вносила столько смуты в образованщину, что та впадала в бесовские наваждения, искушения, проповедуя в искусстве «волю», суть языческую вседозволенность, а подобные проповеди в России — кровавая революция, гражданская война и миллионы погибших русских душ.

Книгочей пьёт святую крещенскую воду, читая Святое Писание, Священное Предание, спасая душу при дверях рая и ада; книгочей пьёт хотя и не святую, но родниковую воду, когда, отринув смутное, читает духовно избранное у Пушкина, Гоголя, Достоевского, Лескова, Шмелева, у народных писателей прошлого века: Шолохова, Шукшина, Абрамова, Белова, Личутина, Распутина; книгочей пьёт искусительно сладостные помои, читая беллетристику, где не пахнет христианским духом Любви, но смердит бесовским искусом, ибо, увы, есть таланты и от Бога, есть и таланты, искушённые лукавым.

А касаясь «Русского месяцеслова» скажу: я составил его случайно, изначально не ставя цель... Уже в восьмидесятых годах, азартно изучая русский фольклор и русскую этнографию, стал я особо при-

стально исследовать календарные обычаи, обряды, приметы русского народа, потом и жития святых, в честь коих давались имена, с днями памяти которых связано немало народной обрядности. Мне это было необходимо для сочинений о крестьянской жизни. Перелопатил изрядно русской календарно-обрядовой и фольклорно-этнографической литературы XVIII, XIX, XX веков, кою отыскивал в старинных библиотеках, кою выдавал мне и Валентин Распутин из домашней библиотеки. Использовал и материалы путешествий по сёлам Восточной Сибири, где великорусы, малорусы и белорусы жили в добром ладу, при взаимообогащающем взаимовлиянии обрядовых культур. Постепенно собрались амбарные книги выписок, и мне стало жаль, если столь ценные выписки сгинут в безчисленных черновиках; и тогда я целенаправленно стал составлять самобытный вариант «Русского месяцеслова».

О.Ш.: В очерке «О языческом и христианском в народной этике» Вы часто повторяете, что дореволюционная Россия была на восемьдесят-девяносто процентов крестьянской. Но статистика по итогам 2020 года, опубликованная на сайте «vesti.ru», гласит, что в российских городах живут 109,3 миллиона человек. Как при таком показателе переселения из сельской местности людям не потерять чувство народной культуры?

А.Б.: Начну с поклонного слова крестьянству, прозвучавшего из уст Александра Куприна, даже и не сословного крестьянина в отличии от меня: «Когда говорят «русский народ», я всегда, думаю — «русский крестьянин». Да и как же иначе думать, если мужик всегда составлял 80% российского народонаселения. Я, право, не знаю, кто он, богоносец ли, по Достоевскому, или свинья собачья, по Горькому. Я знаю только, что я ему бесконечно много должен; ел его хлеб, писал и думал на его чудесном языке, и за всё это не дал ему ни соринки. Сказал бы, что люблю его, но какая же это любовь без всякой надежды на взаимность».

Пережившее раскулачивание и принудительную коллективизацию, но с годами принявшее в душу общинный, братчинный мир колхозного села, приоровившись к житью без господ, без кулаков и

бедняков, крестьянство на переломе веков по вине властвующих врагов народа очутилось в пустоте, без работы, в стуже и нужде, в злобном отчаянье, кое топило в горьком зелье. А о какой уж крестьянской культуре говорить, коль студёные сумерки пали на Землю Русскую...

Приезжаю в забайкальское село Погромну, где доживал долгий век в сто шесть лет мой дед по матушке Лазарь Ананьевич Андриевский; в Погромне и встречаюсь с внучатыми племянниками, приятелями — несмотря на молодые лета, все они крепкие, трудолюбивые, расторопные крестьяне, держат уйму скота, имеют свои покосы и пастбища. Они понимают: иначе не выжить, ни житейски, ни нравственно, иначе детей не вырастить, не выучить, не наставить их на благочестивый жизненный путь. И в сельских родичах чую, слышу, вижу природно-крестьянский и христианский дух героев моих сочинений, — героев, корни которых от изначального мужика Адама, созданного Богом из земли, от жены его Евы, получивших от Господа в подарок плуг и прялку.

О.Ш.: Отвечая на вопрос К.А. Кокшенёвой о «формальном поиске в литературе», Вы ставите «почвенную» литературу XX века выше классики XIX, аргументируя это тем, что классическая литература выражала идею «трёх процентов населения», то есть дворян. А народная литература — суть крестьянская. При перечислении великих творцов XX века бросаются в глаза два имени, о которых нынче говорят и пишут крайне мало. А именно Платонов и Личутин. Поделитесь своим отношением к ним...

А.Б.: В молодые лета взалёб читал модных писателей второй половины XX века — европейских, североамериканских, латиноамериканских; и, как ни странно, в раннем творчестве пережил формальное влияние Фолкнера, Маркеса, Камю, умудрившись в духе и стиле «потока сознания» написать повесть одним предложением. Чуть позже пережил и влияние Андрея Платонова — в русской литературе трудно вообразить иного писателя, в творчестве которого выразились бы столь причудливым, парадоксальным слогом столь причудливые, парадоксальные характеры.

С обретением русского, народно-православного

духа интерес к творчеству Андрея Платонова угас; взамен пришли Лесков, Шмелев, Шергин, Личутин, о произведениях которых можно смело сказать словами Пушкина: «...здесь русский дух, здесь Русью пахнет...», «...и милость к падшим призывал...», «Веленью Божию, о муза, будь [была] послушна...» А мировоззрение Андрея Платонова, воплощённое в сочинениях, — вне русского, народного-православного духа (суть, христианско-крестьянского), а значит, на мой взгляд, — вне истины. Мировоззрение его опиралось на поэтическое одухотворение техники, особо паровозов, на воспевание мастеров, а в описании крестьян — натурализм, доходящий до грубого биологизма. Есть исключения, подобные рассказу «Возвращение» о фронтовике, что вернулся с войны в родное село. Судить о сложнейших, написанных от изощренного ума, сюрреалистичных повестях не берусь — непосильно и врать грешно.

Позднего Платонова одолел азартный формальный поиск, и форма одолела душу; а высший образец художественной формы, когда даже причудливая, предельно насыщенная сложным образом форма при восприятии не ощущается, не заслоняет, но усиливает духовные, нравственные переживания героев, идеи, запечатлённые художником. Предельно сложная стилистика Владимира Личутина не довлеет над содержанием, и быть иной, проще не может, иначе не выразить сложнейшие религиозно-мистические, психологические состояния героев.

О.Ш.: Вслед за Ф.М. Достоевским с «Дневником писателя», И.Р. Шафаревичем с «Русофобией» и многими другими исследователями Вы обращаетесь к вопросу о борьбе с «иноземельцами», «иноверцами» за христианскую русскую культуру. В последние три десятилетия борьба на этом фронте ожесточилась, и сегодняшнее состояние «почвеннического» лагеря далеко не лучшее. Откуда брать силы в ближайшем будущем, учитывая современные «либеральные» тенденции, задающие повестку?

А.Б.: Трагедия постсоветской России даже не в том, что искушённые чужеземным Западом, властвующие либералы, доморощенные лихоимцы и душегубцы державу в одночасье ограбили до нитки, и российский народ проснулся нищим и обездолен-

ным; нет, великая трагедия России в том, что океанские и безродные властители ...суть растлители... вот уже три десятилетия с дьявольским упорством, с дьявольской методичностью работают над изменением русского характера. Глобальные средства народной демонизации, владеющие «мировой паутиной», телевидением и зрелищными искусствами, что подобны бесовским пляскам на русских жальниках, вытравливали из русского характера исконные черты: любовь к Вышнему и ближнему, любовь к родному народу и к земле отичей и дедичей, братчинность, общинность, совестливость, стыдливость, обострённое чувство праведного мироустройства. Вместо спасительных для народа и Отечества духовно-нравственных основ жития-бытия под ёрнический, злорадный хохот жёлтого дьявола-доллара, под заунывные кабацкие скрипочки, под грохот шаманского бубна денно и ночно вбивались в русский характер гордыня, индивидуализм, лихоимство, мздоимство, жестокость, любострастие. «Разрушим их хваленую духовность, и Россия рассыплется сама» — таков мистический замысел мировой сатанократии о Святой Руси, кою даже князь мира сего страшится, словно бес ладана.

В дьявольские девяностые общественную мысль России оседлали «западники», но если бы они были западники, подобные избранным царским, то они бы любили Россию и русский народ и желали народу блага, пусть и на европейский лад; а российские «западники» нынешнего века ненавидят Россию, презирают народ, и, подобно русофобам украинским, белорусским и прочим, куплены Западом с потрохами и по сниженным ценам, как товар низкопробный и молью побитый... Нынешним «западникам», в отличие от царских, хоть наплюй в глаза да хоть помочись в очеса — всё Божия роса... Среди русофилов есть малые и великие грешники, но русофилы каются, а русофобы каяться не способны, ибо без Бога и царя в голове, русофобы не грешники, русофобы — нелюди...

Но повторю реченную мысль: чем яростнее натиск русофобов, тем сильнее и оборона, что ощущается и в искусстве, и в политике; а посему, думаю, русофобам уже не одолеть русофилов, как на перева-

ле веков, а силы Бог даст русофилам, поскольку обережение Православного Отечества — дело правое.

О.Ш.: Ст.Ю.Куныев в статье «Пища? Лекарство? Отравка?», написанной ещё в восьмидесятые, сказал о Викторе Астафьеве следующее: «...один из крупнейших и честнейших наших писателей!» Ю.М. Павлов посвятил творчеству Астафьева цикл статей, где критикует солдатскую «кривду» литератора. Вы в очерке «Душа грустит о небесах...» говорите об Астафьеве, что он «далеко обошёл Шукшина по художественному слову, но до Шукшинской совести, до Шукшинской сострадательной и восхитительной любви к русскому народу не взойшёл». Расскажите, как с десятилетиями формируется более строгий, критический взгляд на творчество Виктора Петровича?

А.Б.: Скажу не лести ради, а истины: с нравственной, русской национальной, державной точки зрения, основательно, строго доказательно и завершённо творческая судьба Астафьева выразилась в статьях Юрия Михайловича Павлова, которые, как и прочие его критические сочинения, — значимое явление современной русской литературы.

И я сподобился написать очерк о судьбе выдающегося русского писателя, что, подобно позднему Тургеневу, на склоне лет впал в русофобию; но если Тургенев по причине германофильства, то Астафьев, увы, корысти ради.

«Говоря, ты рождаешь слово, и оно не умрёт до Страшного Суда», — упреждал святитель Феофан Затворник, обличая пустобаев, лжецов, ёрников, сквернословов. Матерно клял Виктор Петрович империю рабочих и крестьян, которая вывела его, вчерашнего сцепщика вагонов, во всесветно славленного писателя, избалованного миллионными тиражами книг, богатыми премиями и прочими земными благами. предав проклятию советское время, воспев гибельные девяностые в лице тогдашнего правителя-губителя, на исходе же покаянно написал: «Я пришёл в мир добрый, родной, и любил его бесконечно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощание...» Лёжа на одре, под святыми, люди обычно не врут, а значит сей правдивой запиской писатель вольно ли, невольно признался: дескать, солгал я в сочинениях, корысти ради клян

«мир добрый, родной» и любимый, и лояльно умалчивая о мире чужом, злобном, порочном.

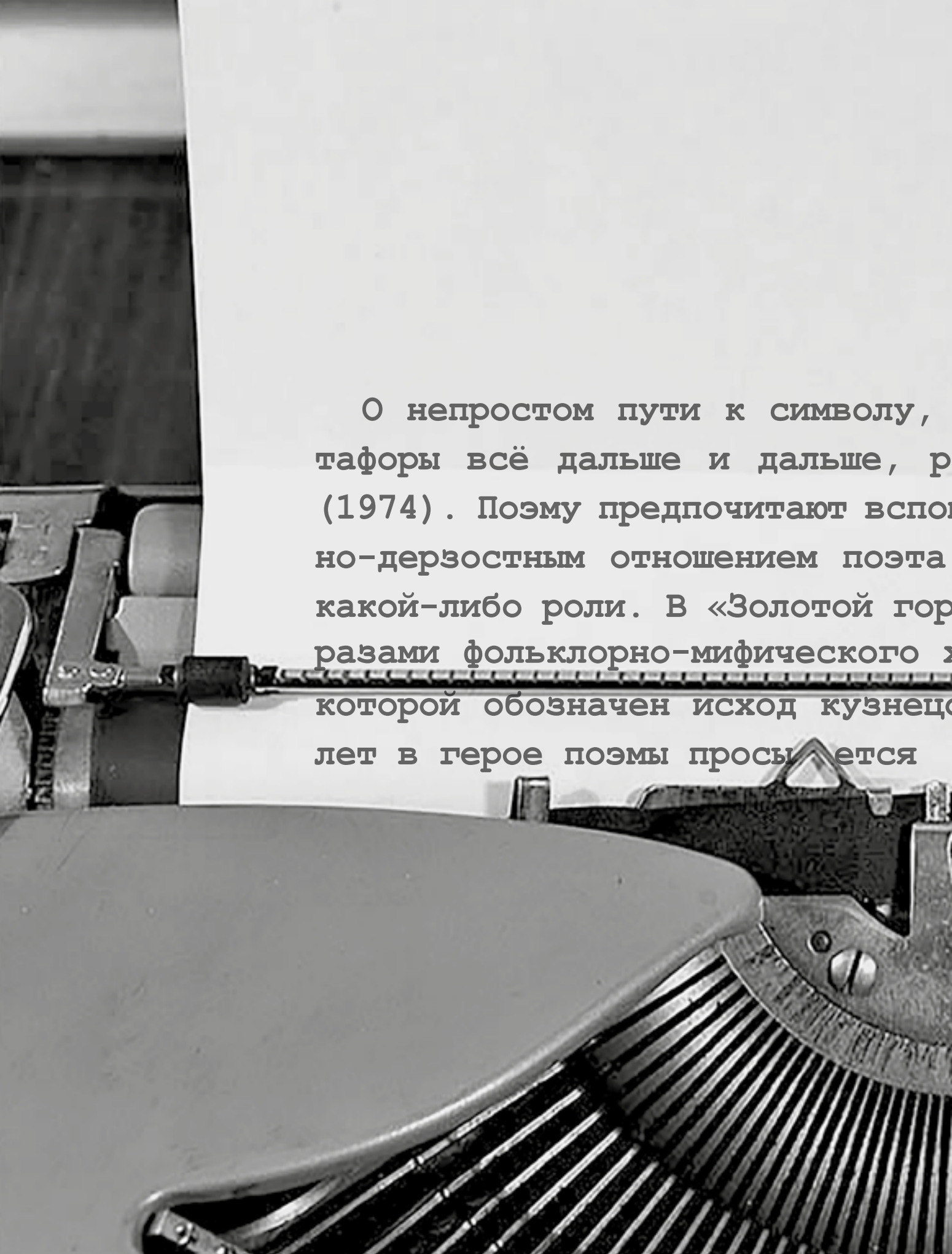
После публикации моего очерка об Астафьеве поклонники его позднего творчества, как и позднего творчества Тургенева, либо от слепого почитания сотворив кумира, либо из русофобского единомыслия с писателями обвиняли меня даже в зависти к покойным классикам, царскому и советскому. На всякий роток не накинешь платок, но скажу, положав руку на грудь: Астафьевская писательская судьба в моем очерке была лишь поводом для размышлений о русской литературе в её горних вознесениях и дольных падениях в безумную мудрость века сего.

О.Ш.: И заключительный вопрос. Весной 2021 года факультет журналистики КубГУ планирует провести очередные Лихоносовские чтения. В этот раз они будут особенными — приурочены к 85-летию писателя. Стоит ли ожидать Вас в качестве гостя на мероприятии?

А.Б.: Прошу прощения, что не ответил на все вопросы — мимоходом, мимоходом выйдет скудомыслие, отвечать же основательно уже нет смысла, ибо и без того изрядно наговорил. Но всё же скажу по поводу весенних Лихоносовских чтений, которые проходят на факультете журналистики Кубанского госуниверситета и которые, Бог даст, и мне посчастливится посетить. Начну с того, что высоко чту прозу Виктора Лихоносова, по духу и слову близкого моему земляку Валентину Распутину, который, кстати, писал и предисловия к сочинениям Лихоносова.

Доброе знамение о грядущей судьбе России, отрада русским сердцам, коль по городам и весям Отечества проходят подобные национально-обережные, державные события, что вселяют в души надежду на счастливое будущее родного народа и будят в русских соборный, братчинный дух, увы, часто впадающий в суету сует, томление духа и грешное уныние. А в Благой Вести Иисус Христос, молвя притчами, учил: «не возжигают светильника и поставяют его под спудом, но на свещнице, и светит всем, иже в храме...». Аминь! ■

[1] Бертенев П.И. Рассказы о Пушкине. М., 1973. С. 11.

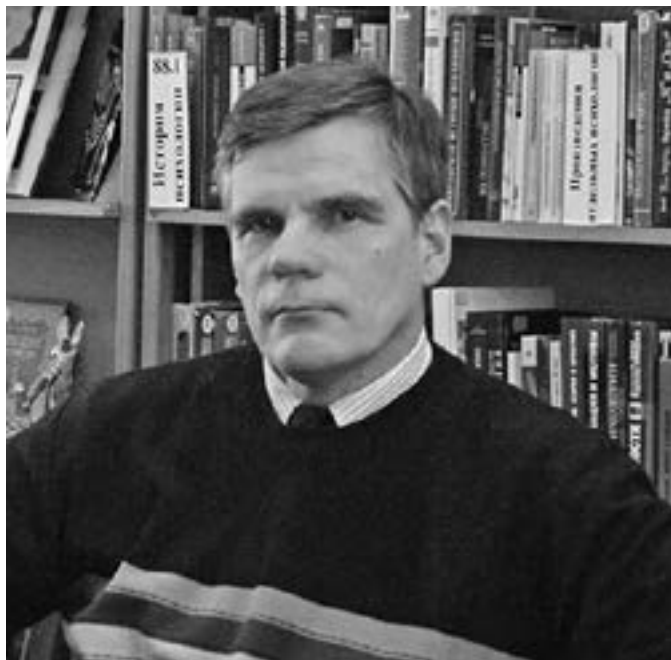


О непростом пути к символу,
тафору всё дальше и дальше, р
(1974). Поэму предпочитают воспо
но-дерзостным отношением поэта
какой-либо роли. В «Золотой гор
рами фольклорно-мифического
которой обозначен исход кузнецо
лет в герое поэмы просы ется

КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

пути, уводившем Кузнецова от ме-
ассказывает поэма «Золотая гора»
минать лишь в связи с непочтитель-
к классикам, хотя это не играет
е» путь к символу представлен об-
характера, дающими перспективу, в
овского метафоризма. В семнадцать





ВИКТОР БАРАКОВ

Родился в 1961 году в городе Великом Устюге Вологодской области. Литературовед, писатель, публицист, литературный критик, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России, лауреат Всероссийской литературной премии «Звезда полей» им. Николая Рубцова и Всероссийской православной литературной премии им. Святого благоверного князя Александра Невского. Живёт в Краснодаре.

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ: СИЯНИЕ ДУХА

Со стихами Юрия Кузнецова я познакомился ещё в юности, но по-новому они зазвучали в душе уже в перестроечные годы. Классическая строгость, глубина и одновременно ясность мысли сочетались в них с космическим размахом образов, мистическое начало преображало действительность, быт становился бытием, душевную жизнь освещало сияние Духа...

В январе 1993 года Юрий Кузнецов вместе с русскими писателями, авторами журнала «Наш современник», приехал в Вологду. Помпезное помещение бывшего Дворянского собрания было переполнено. Кто-то умудрился забраться даже на балкон третьего яруса, где стояли прожекторы. Политическое и идеологическое напряжение в народе тогда зашкаливало, и поэтому пронизанное душевной болью выступление Валентина Распутина и едкое слово Василия Белова взорвали зал, началась полемика. Юрий Кузнецов был, наверное, единственным, кого эта перебранка не смутила. Он словно отстранился от шума уходящего времени, думал о чём-то своем и не обращал внимания даже на оскорбления, которые смело бросал сверху вниз некий субъект, спрятавшийся за осветительными приборами.

Но вот ведущий дал слово русскому поэту, и тот начал неспешно, как бы вспоминая давнее:

*Смотрим прямо, а едем в объезд.
Рыба-птица садится на крест
И кричит в необъятных просторах.
Что кричит, мы того не возьмём
Ни душою, ни задним умом.
Теснотой и обидой живём.
Заливается ночь соловьём,
День проходит в пустых разговорах.*

А в следующем стихотворении Кузнецов всего лишь одной строфой поведал и о себе — да так, что вся его былая отстранённость исчезла напрочь:

*Я душу спасаю от шума и глума,
Летающих по краю.
Я думаю думу; о чём моя дума,
И сам я не знаю.*

Внимание притихшего зала воодушевило поэта, и он прочёл ещё несколько стихов, в числе которых были «Маркитанты», вызвавшие у публики живой отклик и горячие аплодисменты.

В 1994 году я поступил в докторантуру в Москве и стал писать диссертацию о современной русской поэзии. Юрий Кузнецов занимал не только моё воображение. Рядом со мной в общежитии Московского педагогического университета на Юго-Западе жил и перебивался с хлеба на воду молодой аспирант Кирилл Анкудинов. Нас сблизила не только общая alma mater (в разные годы мы окончили один и тот же педагогический вуз в Майкопе), но и беззаветная любовь к русским поэтам, особенно к Николаю Рубцову и Юрию Кузнецову. Нас в самое сердце поразила колоссальная энергия мифа в кузнецовской поэзии. Споры и восторги за столом с разведённым в кружках обжигающим чаем длились порой до рассвета. Тогда и пришла мне в голову мысль написать совместно книгу о творчестве Юрия Кузнецова. Кирилл на моё предложение ответил согласием, и в начале 1995 года работа закипела. Детали в черновых главах обсуждались и согласовывались здесь же, за тем же письменным (и одновременно обеденным) столом. К концу года рукопись была готова и я, узнав в Литинституте номер домашнего телефона Кузнецова (на работе

его я не застал), позвонил поэту «на удачу». Мне повезло — трубку взял сам Кузнецов:

— Я слушаю.

Стараясь быть спокойным, я произнёс заготовленную фразу:

— Здравствуйте, Юрий Поликарпович! С вами говорит Виктор Бараков из Вологды. Вместе с Кириллом Анкудиновым из Майкопа мы подготовили рукопись книги о Вашей поэзии и хотели бы встретиться с Вами.

— Зачем?

Вопрос меня озадачил:

— Ну, например, для того, чтобы... не напутать даты в Вашей биографии...

Кузнецов устало вздохнул:

— Обратитесь с этим к Кожинovu, он поможет.

— А о наших оценках Вашего творчества поговорить?..

— Пишите так, как будто меня нет, — сказал Кузнецов и положил трубку.

Последняя фраза оказалась особенной — в тембре, в интонации произошла разительная перемена. Со мной говорил уже не собеседник, а поэт. Многозначительность этих слов я осознал сразу: тут были и доброжелательная снисходительность к нашему исследованию, и пренебрежительность к собственной персоне перед вселенским ликом поэзии, и одновременно стремление оградить свою личность, свой невидимый чужому взгляду потаённый мир души.

В январе следующего, 1996-го, года рукопись редактировалась и набиралась в издательстве «Свеча», главой и движущей силой которого была прозаик Галина Шекина, а 11 февраля, в день 55-летия поэта, первый экземпляр книги «Юрий Кузнецов. Очерк творчества» (с автографами сочинителей) лёг на личную преподавательскую полку Кузнецова в Литинституте.

Надо ли говорить о том, что мы с трепетом ждали от Юрия Кузнецова не просто критики, а показательного разгрома, но, к нашему удивлению, ничего подобного не последовало. Более того, сам поэт через несколько лет подтвердил наш вывод о том, что кузнецовская символика, миф — это живая

действительность, мифо-реальность: «Миф не выдумка и не ложь. К настоящему мифу нужно относиться серьезно» (11).

Творчество Кузнецова всегда будет вызывать споры, но нужно понять, что «на чисто литературной почве его переспорить нельзя», так как «он по крови, по своей жизненной сути иной» (17, С.35). «Без проникновения в суть предложенного нам поэтического мира, — писал поэт Валентин Устинов, — разговоры о нём представляются ... не просто беспредметными, но искажающими истину» (18).

Самый главный подвиг Юрий Кузнецова — поэтическая трилогия о Христе, поэма «Сошествие в ад» и незавершённая — «Рай». С середины 1990-х годов он все свои силы бросил на алтарь дерзновенной по замыслу и величественной по исполнению цели: «Задача была приблизить Иисуса к душе русского человека. Я её выполнил» (Из воспоминаний поэта В.В. Иванова «Преодоление одиночеств»).

«Между тем за публикацию поэмы в журнале, — рассказывает Ст. Куняев, — высказались, кроме Дмитрия Дудко, и Вадим Кожинov, и Владимир Личутин, и Николай Лисовой. Против были протоиерей Александр Шаргунов и мой друг Владимир Крупин» (16). Особенно непримиримой была рецензия о. Александра.

Думается, что здесь произошло недоразумение, связанное с принципиальным различием поэзии (мышления в образах) и богословия. Помнится, что о. Александр Шаргунов выступал и против Сергея Есенина, посчитав предательством веры его хрестоматийные строки:

Если крикнет рать святая:

«Кинь ты Русь, живи в раю!»

Я скажу: «Не надо рая,

Дайте родину мою».

Протоиерей Александр Шаргунов взглянул на этот образ рассудочно, не постигнув сердцем мысль поэта, пульсирующую в подтексте: без России, без её

веры нет спасения, нет рая. Русь Святая — Престол Божий, и если «рать» отвергает Россию, то никакая она не святая, а только прикинувшаяся таковой. Она похожа на «тень монаха» в стихотворении «Поэт и монах», написанном Кузнецовым за неделю до смерти.

Не буду вдаваться в подробности и предположения (например, о том, что в образе Монаха Юрий Кузнецов вывел Святителя Игнатия Брянчанинова), так как не силен в богословии, но приведу оценку современного священноначалия: «Культура является богозаповеданным делом человека... и способна быть носителем благовестия... когда влияние христианства в обществе ослабевает или когда светские власти вступают в борьбу с Церковью» (5). Если искусство способствует спасению человеческой души, то оно полезно, если ведет её к гибели — греховно.

К последним поэмам Юрия Кузнецова критики подходили в большинстве случаев традиционно, со своей меркой, не понимая истинной природы символа, не разглядев его духовной основы. Кроме того, эти произведения надо анализировать в контексте всей поэзии Кузнецова, в движении его творческого времени. Поэт, закончив поэму «Схождение в ад», воскликнул: «Данте 12 лет писал, а я за полгода своротил!.. Небо — ключ, земля — замок... Это результат многолетнего изучения мирового фольклора...» (3).

Поэзия Кузнецова — это прежде всего поэзия символов. «Я недолго увлекался метафорой и круто повернул к многозначному символу, — пишет поэт. — С его помощью я стал строить свою поэтическую вселенную...» (13, С. 8). «...Их глубина открылась мне внезапно. Видимо, я шёл к ним давно и напрямик. Мои юношеские стихи метафоричны. Но метафора очень скоро перестала меня удовлетворять. Это произошло, когда мне было 25 — 26 лет. Для поэта это начало зрелости. В то время я изучал и конспектировал труды Афанасьева... и вспоминал свои детские впечатления и ощущения» (14).

Понятно, почему Ю. Кузнецов отошел от метафоры и пришел к символу: во-первых, «мир фольклора — это мир символов. Народная культура во-

обще глубоко семиотична и символична» (4, С. 66), во-вторых, «символ более устойчив и частотен, чем метафора» (4, С. 79). Сам Кузнецов сказал об этом так: «Символ... не разъединяет, а объединяет, он целен изначально и глубже самой глубокой идеи потому, что исходит не из человеческого разума, а из самой природы, которая в отличие от разума бесконечна» (12, С. 101).

В одном из программных стихотворений «Бывает у русского в жизни...» поэт заявляет: «Прошу у отчизны не хлеба, А воли и ясного неба» (невольно вспоминаются рубцовские строки: «Отчизна и воля — останься, мое божество!»). Небо для его лирического героя — это прежде всего место, где обитает Бог, ангелы и архангелы, то есть вся «небесная рать» («Тайна славян», «Былина о строке» и др.). С христианством здесь органично переплетается и славянская мифология, в которой небо связывается со счастьем, красотой и нравственной чистотой.

Выше всех в лирике Кузнецова горит звезда, олицетворяющая собой Бога (христианская традиция): «И звезда горит ясным пламенем / После вечности мира сущего» («Былина о строке»).

Солнце у поэта — не «термоядерный генератор света и тепла», не гигантская электролампочка, а источник жизни, залог счастья и красоты, «солнце благодати». В «Голубиной книге» сказано, что «солнце красное создано от лица Божьего, согласно с этим и сам белый свет (первоначально свет солнечных лучей, а потом уже — мир, озаряемый небесным светом = вселенная) зачался от мира Божьего, т. е. от солнца» (1, С. 218). Двуетьство: солнце-Бог — обычное явление и в мифологических системах, и в Православии (например, изображение солнца на священнических облачениях), и в поэтике Юрия Кузнецова.

Стихия огня в поэзии Кузнецова — одна из самых «символоёмких» (если можно так выразиться) и самых противоречивых по вкладываемому в неё смыслу. С одной стороны, огонь — это смерть, нечистота, языческий обман («Дуб», «Гнилушка на ладони», «Ложные святые»), с другой — свет, тепло, творческое начало:

*По праву сторону махнул
Он белым рукавом.
Из вышины огонь дохнул
И грянул белый гром.*

*По леву сторону махнул
Он черным рукавом —
Из глубины огонь дохнул
И грянул черный гром.*

(«Четыреста»)

Примерно такая же многофункциональность присутствует и в христианстве: огонь — Слово Божие; огонь, «попаляющий грехи» во время Причащения; неугасимый огонь в аду.

Земля в его поэзии, как и в славянской мифологии, тесно связана с понятиями «страна», «Родина», «род»: «В окне земля российская мелькает...» («Водолей»); с понятием рода в почвенном его значении соединена и традиционная славянская «мать сыра-земля»: «Мать сыра-земля — наша истина...» («Сито»).

В широком христианском понимании земля — место духовной битвы в жизни любого человека. В стихотворениях «Я знаю землю, где впотьмах...», «Я пил из черепа отца...», «Опора» эта мысль — главная.

Стороны света у Кузнецова несут такую же символическую нагрузку, к какой мы привыкли: в славянской мифологии «с востоком соединялось представление рая, блаженного царства вечной весны, неиссякаемого света и радостей. Наоборот, запад (от глагола за-падать) называют заход и солнцосяд и связывают с ним идею смерти и ада, печального царства вечной тьмы» (1, С. 182). В христианстве восток является жилищем Бога (в Священном Писании Христос назван Востоком), а запад — сатаны. Потому лирический герой Кузнецова и стоит, «повернувшись на Запад спиной», зная, что главное зло приходит с Запада («Запломбированный вагон дальнего следования»). Но не все так просто: двойственность русского сознания сказывается и здесь: «Душа, ты рванешься на запад, А сердце пойдет на восток» («Бывает у русского в жизни...»).

Оппозиция «юг-север» так же традиционна: «Как восток противопоставляется западу, так юг — северу; подобно западу, север в народных преданиях представляется жилищем злых духов» (1, С. 183). Для Кузнецова север — не только место народной трагедии периода сталинизма: «Отца на Север увезли с крыльца» («Очевидец»), но прежде всего трагическая судьба России, predeterminedная свыше:

*Как родился Господь при сиянье огромном,
Пуповину зарыли на Севере тёмном.
На том месте высокое древо возшло,
Во все стороны Севера стало светло.*

*И Господь возлюбил непонятной любовью
Русь святую, политую божеской кровью.
Запах крови почуял противник любви
И на землю погнал легионы свои.*

(«Видение»)

Поэтому и «ухают дыры от ран...» («Сказание о Сергии Радонежском»), поэтому и приходится латать «дыры российской земли», распятой, как и весь мир, на кресте:

*На закате грусти не грусти —
Ни княжны, ни коня вороного.
И свистит не синица в горсти,
А дыра от гвоздя мирового.*

*— Уж такой мы народ, — говорю, —
Что свистят наши крестные муки...
Эй, бутылку и дверь на каюк,
Да поставить небесные звуки!*

(«Только выйду на берег крутой...»)

Змея в кузнецовской поэзии связывается со злом, с кознями злого духа, с оборотничеством («Змеиные травы», «Число», «Поступок», поэма «Змеи на маяке»). И в христианстве змей-искуситель считается образом дьявола. В поэзии Кузнецова есть и голубь как христианский символ Святого Духа.

Решающее влияние на представления поэта о человеческой душе оказало христианство, но и оно

прижилось не на пустом месте: в славянской мифологии душа также даровалась человеку Богом (либо — матерью), а после смерти покидала тело, — правда, в языческих эмпиреях душа имела пристрастие к полетам во сне.

Религиозная символика в поэзии Ю. Кузнецова не выходит за рамки общеизвестного набора образов. Духовный смысл земного и космического бытия выражен у поэта восходящей одновременно и к мифологии и к христианству бинарной оппозицией: «Бог-дьявол»: «Вечный бой идет Бога с дьяволом» («Былина о строке»). Кузнецов не стремится к глубокому постижению евангельских откровений и не раздвигает подобные рамки православным учением о Святой Троице. Христос для него — прежде всего Учитель («Портрет учителя»), а сатана — «дух отрицанья» («Поступок»), сеятель мирового зла, падшее творение Бога:

*Мне нужна твоя помощь. Поверь,
Был когда-то и я человеком
И понес очень много потерь,
Он мигнул мне оборванным веком.
(«Испытание зеркалом»)*

Противопоставление ада и рая также нельзя признать каноническим. Ад для поэта — не только место вечного мучения грешников, преисподняя («Голоса»), а бездна, понимаемая и как духовная катастрофа прошлого («Стук»), и как следствие «адского плана» нынешнего времени. Тьма, бездна, борьба с ней — «идея фикс» Кузнецова, недаром он заявил: «Я памятник себе воздвиг из бездны, Как звездный дух...» («Здравница памяти»). Не только мир, но и поэт у него — бездна («Стихия»), и вообще он «...частью на тот свет подался, / Поскольку этот тесен оказался» («Здравница памяти»).

Рай у Кузнецова представлен исключительно «Градом Китежем» — городом, согласно средневековой легенде исчезнувшем в водах озера Светлояр («Солнце родины смотрит в себя...», «Не поминай про Стеньку Разина...»). Появился Китеж и в поэме «Рай»:

*В воздухе туча стояла, а может, плыла,
Плыл с ней и Китеж, сияя во все купола.
Вздрыгнула туча! Всему свое время и место...
И вознеслась! А куда — это Богу известно.*

Из всего многообразия значений слова «крест» (символ христианства; символ высших сакральных ценностей; знак смерти; крест животворящий; личное испытание; распятие и т.д.) поэт использует только три: во-первых, распятие («Голубь», «Тайна Гоголя») и гвоздь как символ распятия: «Но ладонь от ладони ушла / В голубом небосклоне. / Вбиты гвозди, и кровь залила / Эти лица-ладони» («Ладони»); во-вторых, крест как символ христианства («Солнце родины смотрит в себя...»); и в третьих, — как ответственность, испытание, больше похожее на долю, участь («Откровение обывателя»).

Религиозная лексика в лирике Кузнецова подтверждает мысль об эклектичности его образной символики: он использует и усвоенный христианством «старый словарь, восходящий к индоевропейскому источнику: «Бог», «Спас», «святой», «пророк», «молитва», «жертва», «крест»... (8, С. 14), и слова, словосочетания и синтаксические конструкции из Библии: «архангел», «древо познания», «мерзость запустения», «томление духа», «крестные муки», «блаженны нищие духом» и др.

Одним из известнейших произведений Ю. Кузнецова является поэма «Дом». Но не только в поэме, во всей его лирике этот образ-символ — один из самых главных. В народной культуре дом — «средоточие основных жизненных ценностей, счастья, достатка, единства семьи и рода (включая не только живых, но и мертвых» (8, С. 168). В стихотворении «Семейная вечеря» они сидят за одним столом:

*Неполная смерть поднимает из праха
Истлевшие кости... солдатская бляха
Блестит на одном.*

*Пришельцы глядят на пустые стаканы,
Садятся за стол и сквозят, как туманы,
Меж ночью и днем.*

К теме Дома поэт подошёл со свойственной ему основательностью. «В поэтике Кузнецова он — ёмкий и собирающий образ, — писал Ю. Селезнев. — Это и отчий дом, и дом — Родина (поэмы «Дом», «Четыреста»), и весь мир, но уже не в его катастрофическом состоянии, а в ином, противоположном качестве» (7, С. 224). Образ дома «своими корнями уходит в народные представления о нравственности. Ещё «Повесть о Горе-Злочастии» семнадцатого века разрабатывает мотив уход молодца из дома, осуждает его неприкаянность, забвение им родительских заветов» (6, С. 61). Понятно, что здесь обыгрывалась притча о блудном сыне...

Если идти дальше вглубь веков, то можно увидеть, что в древнейших формах художественного творчества самых разных народов дом — изначальное понятие... Когда Пушкин узнал, что его рана смертельна, он сказал: «Мне надо привести в порядок мой дом» (2).

Юрий Кузнецов встретил смерть так: «Утром 17 ноября 2003 года он собрался на работу, оделся, сел в кресло и вдруг сказал:

— Мне надо домой!

— Юра, ты же дома! — сказала жена.

— Домой! — повторил Поликарпыч...

Это было последнее слово в его жизни...» (3).

Юрий Кузнецов — поэт редкой трагедийной силы. Его лирический герой видит трагедию не только в русской национальной жизни, но и в состоянии всей мировой культуры, гибнущей в тисках «железного» века. Он говорит о вселенском зле, о его изначальном первородстве и даже Прометея называет «сводным братом» Люцифера.

По мнению Ю. Кузнецова, в наше время на «поле битвы в сердцах людей» развернулось сражение с самим дьяволом и его пособниками: бесами, «призраками с четвертым измерением», чудовищами из прошлого («Очевидец») и настоящего («Наваждение», «Борьба», «Испытание зеркалом», «Число», «Знак» и др.). В стихотворениях «Видение», «Великий инквизитор» и особенно в «Портрете учителя» поэт, говоря о вселенском зле, сознательно обращается к Евангелию, к осново-

полагающей догме о всеобщем противостоянии Бога и сатаны: «Опять берет Его диавол на весьма высокую гору, и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если падши поклонись мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана; ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (От Мф 4: 8-10).

Поэтическое переложение евангельских откровений в «Портрете учителя», ответ духовного опыта русских святых: Серафима Саровского (в стихотворении «Пустынник») и Игнатия Брянчанинова («Видение») — само по себе это ещё не означает, что Кузнецов являлся «убежденным сторонником православия»: «Пускай об этом говорят другие. С духовенством наши правители заигрывают. Стали частыми теперь выходы священников к общественности, тут самые различные трибуны, включая телевидение. Я вдруг обнаружил, что я — продукт советской безбожной эпохи. Я же в храм хожу редко. Важнее, наверное, другое: я сохранил психологию православного человека. Бог для меня несомненен. Христос — тем более... Я чту православные святыни, исполняю, как могу, евангельские заповеди. Мне близки слова Христа: «Будьте как дети» (15). О близости этих двух составляющих мироощущения Кузнецова точнее всего сказано у И. Геворгова: «Истинное искусство, как и религиозное слово, обращается непосредственно к сердцу человека с откровением Истины. Поэтическое слово, как миф, вмещает в себя бесконечное содержание, будучи по форме простым и доходчивым. К такому слову-мифу стремится и поэзия Юрия Кузнецова в лучших её образцах. Эта поэзия — одно из интереснейших и поучительных явлений наступающей эпохи Русского Возрождения» (9, С. 105).

Усиливающееся общее эсхатологическое восприятие времени в кузнецовском поэтическом преломлении наиболее отчетливо выразилось в стихотворении «Хвала и слава». Его лирический герой чувствует личную ответственность за происходящее в мире, за конечный итог и своего, и общего земного бытия:

*Близок предел. Счет последним минутам идёт.
Из человечества выпало слово: вперёд!
Господи Боже! Спаси и помилуй меня,
Хоть за минуту до высшего Судного Дня:
Я бы успел помолиться за всех и за вся,
Я бы успел пожалеть и оплакать себя...
Голос был свыше, и голос коснулся меня
За полминуты до страшного Судного Дня:
— Вот тебе время — молиться, жалеть и рыдать.
Если успеешь, спасу и прощу. Исполать!*

Ключ к расшифровке поэм Кузнецова о Христе тот же: Кузнецов как поэт воспринимал христианство мифологически: «Я долгие годы думал о Христе. Я Его впитывал через образы, как православ-

ный верующий впитывает Его через молитвы» (11). Свое отношение к православной религии Кузнецов-человек выразил не менее чётко: «Поэзия, конечно же, связана с Богом. Другое дело, что сама по себе религия, и особенно религия воцерковлённая, может существовать без поэзии, в то время как поэзия без религиозного начала невозможна. Поэт в своем творчестве выражает всю полноту бытия, не только свет, но и тьму, и поэтому ему трудно быть вполне ортодоксальным, не в жизни, конечно, а в поэзии» (19). Поэтому мы не можем и не должны переходить на личность поэта и оценивать его как православного христианина. Всё то, что произошло в его душе, он унёс с собой. А вот непостижимая тайна его поэзии будет манить нас всегда. ■

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 1. М., 1994.
2. Ахматова Анна. Слово о Пушкине / URL: <https://proza.ru/diary/ekasinita/2010-06-26>.
3. Звать меня Кузнецов. Я один: Воспоминания, статьи о творчестве. Оценки современников / Сос. Вячеслав Огрызко. М.: Литературная Россия, 2013.
4. Никитина С.Е. Устная народная культура и языковое сознание. М., 1993. — 189 с.
5. Основы социальной концепции Русской православной церкви (2000) / URL: https://prihod.rugraz.net/assets/pdf/Osnovi_socialnoj_koncepcii_Russkoj_Pravoslavnoj_Cerkvi.pdf.
6. Онуфриева Н.И. Герой и время в русской советской поэзии второй половины 60 — 80-х годов: Н. Рубцов, А. Жигулин, Ю. Кузнецов, О. Чухонцев: Дисс. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. М., 1988. — 205 с.
7. Селезнев Ю. Златая цепь. М., 1985. — 415 с.
8. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М., 1995. — 413 с.
9. Геворгов И. Камень Алатырь // Лит. обоз. 1991. 4. С. 103 — 105.
10. Кузнецов Юрий Поликарпович / URL: <http://www.stihi.ru/avtor/yurijkuznetsov>.
11. Кузнецов Ю.П. Воззвание / URL: http://rulibs.com/ru_zar/poetry/kuznetsov/0/j89.html.
12. Кузнецов Ю.П. О воле к Пушкину // Альманах «Поэзия», 1981. С. 99—101.
13. Кузнецов Ю.П. Рожденный в феврале, под водолеем... Стихотворения. М., 1990. С. 7—10.
14. Кузнецов Ю.П. Бог дает поэту искру // Лит. Россия, 1991. 22 февраля. С. 21.
15. Кузнецов Ю. Отпущу свою душу на волю... // Лит. Россия.- 1995. - 1 сентября. С. 10—11.
16. Куняев Ст. Бездна прозрачна. Нечистые, прочь от пера! / URL: <http://kuniae.ru>.
17. Урбан А. Видеть то, что за стихами // Лит. обоз. 1979. № 11. С. 32 — 37.
18. Устинов В. Дерево созиданья // Лит. газ. 1986. 23 апреля. С. 5.
19. Цит. по: Ильинская Н. И. Тема «Бог и поэт» в творчестве Юрия Кузнецова / URL: <https://phil.duan.edu.ua/images/PDF/2013/2/35.pdf>.



ОЛЕГ МОРОЗ

Родился в 1970 году в Краснодаре. Доктор филологических наук, профессор. Автор книг «Историософская концепция А. Платонова: вселенная — человек — техника» (2001), «Генезис поэтики Николая Заболоцкого» (2007) и многочисленных публикаций, посвящённых истории русской и зарубежной литературы XVIII — XX веков. Живёт в Краснодаре.

НУЖНЫЙ ПОЭТ: ПУТЬ ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА К СИМВОЛУ

Поэзия Кузнецова до сих пор во многом остаётся загадкой. В ней удивительным образом сочетаются яркая (самим поэтом постоянно педалировавшаяся) индивидуальность и родовая всеобщность, которая, заметим, связана не только с национальной фольклорно-мифической традицией, но и с традициями западноевропейского искусства. Говоря предельно кратко, трудность понимания поэзии Кузнецова определяется неотчётливостью представления о взаимодействии в стихах поэта факторов символического и мифического порядка. Символ и миф появились у поэта не одновременно, прямой связи между ними не было, и на разных этапах творчества сочетались они в разных соотношениях. Эта проблема не учитывается ни критикой, ни академическим литературоведением: считается, что символ и миф у Кузнецова едины, если не одно и то же (12, 266; 13, 139-140). Доминирует в этом единстве миф, хотя далеко не все образы у Кузнецова (даже в период расцвета его поэзии) мифичны, и, кроме того, характер мифичности у него от стихотворения к стихотворению разнится. Нередко мифичность стихов поэта лишь структурный аспект поэтического символа, как, например, в стихотворениях «Елена» (1969) и «Европа» (1980). В отдельных ситуациях, — к ним можно отнести балладу «Седьмой» (1985), — мифичность (фольклорность) выступает планом выражения лежащих вне зоны действия дискурсивной речи личных переживаний поэта, поэтому она не является определяющей для образности произведения. Однако во всех этих случаях мы ощущаем могучую силу символа. Миф у Кузнецова есть скорее ментальный акт: он является способом варьирования символа, дающим Кузнецову возможность естественного перехода из ин-

дивидуального регистра в родовой и наоборот и (или) игры в обоих регистрах одновременно. Гораздо сложнее будет сказать, что для поэта символ.

В символе у Кузнецова сопряжены поэзия, судьба, трагедия народа и предначертание России: он и фокусирующая знание призма, и форма самого знания. И это сопряжение далеко не тривиальное. В автобиографическом эссе «Рождённый в феврале, под водолеем...» (1-я редакция — 1979 год, 2-я — 1990-й) Кузнецов писал: «Он (отец. — *О.М.*) погиб в 1944 году в Крыму. В моём детстве образовалась брешь. Это была сосущая загадочная пустота отцовского отсутствия, которую я мог заполнить только словом. Я много написал стихов о безотцовщине и постепенно перешёл от личного к общему. Я ввяв ощутил ужас войны и трагедию народа. Ведь кругом почти все были сироты и вдовы. Я коснусь запретного. Мой отец погиб не случайно. Это жестокая правда моей поэтической судьбы. Если бы он вернулся с войны живым, трагедия народа была бы для меня умозрительной, я был бы ненужным поэтом; пошёл бы по боковой линии народной жизни, как обеспеченный генеральский сынок. Я бы неминуемо впал в духовное одичание метафоризма. Я недолго увлекался метафорой и круто повернул к многозначному символу. С помощью символов я стал строить свою поэтическую вселенную» (6, 17-18).

Этот пассаж цитировался исследователями не раз и не два; и не зря. Он очерчивает философско-эстетический горизонт поэтической биографии Кузнецова, но смысл его неочевиден. Слова поэта будет неправильно воспринимать буквально. Нужно учесть, что в этом эссе Кузнецов осмыслял свой творческий путь с позиций, на

которые он вышел, найдя символ. Писать стихи Кузнецов начал, скорее всего, по причинам столь же банальным, сколь и таинственным, как это и бывает в детстве. Но к связанным с символом достижениям он пришёл именно тогда, когда «пустота отцовского отсутствия» стала его действительностью. Вот это-то и поразительно: непосредственно проговариваемая соотнесённость обстоятельств жизни Кузнецова и его родных и особенностей его поэтики. Переход «от частного к общему», который, по словам Кузнецова, был определён осмыслением безотцовщины, отнюдь не объясняет обращение поэта к символу. Между прочим, первый кузнецовский символ не имел отношения ни к теме отца, ни к теме войны вообще. Нужно ещё не упустить из вида, что в пору исканий поэта дорога к символу была скорее дорогой от метафоры. Путь Кузнецова в поэзию начинался как раз с головокружительного увлечения метафорикой: начиная с семнадцати лет он «всюду видел одни метафоры...» (6, 77). Стоит отметить, что в своих литературно-критических выступлениях Кузнецов чаще всего предьявлял претензии не Е.А. Евтушенко и не А.А. Вознесенскому, безоглядно разбрасывавшимся метафорами, а куда более скромным в этом отношении поэтам так называемого военного поколения и их предшественникам (Я.В. Смеляков и Л.Н. Мартынов). Строго говоря, отношение поэта к метафоре никогда не сводилось к однозначной неприязни, в нём были весьма тонкие нюансы. «Пустота отцовского отсутствия» — не причина поэзии Кузнецова, но обнаружившая в его жизни конфликт ситуация, которая определила, с одной стороны, отход от ещё вчера обожаемой метафоры, а с другой — движение навстречу неведомому символу.

Что это была за ситуация? Почему метафора вдруг начала смущать Кузнецова? Исследователи рассматривают процесс формирования поэтики Кузнецова в предельно упрощающей его художественный поиск перспективе, утверждая, что «путь поэта к символу и мифу — основным категориям его поэтики — начался с первых стихов о Великой Отечественной войне» (13, 139). Между тем, вплоть до 1965 года, когда было создано стихотворение «Бумажный змей», в котором появился его первый символ, Кузнецов писал метафорические стихи. Более того, и в «Бумажном змее» символ практически не ощущается: на первый взгляд, стихотворение составляет цепочка ме-

тафор. Символ станет виден, когда поэт начнёт использовать миф и его отражённую в фольклоре образность. Однако в мифологических символах Кузнецова от метафоры не остаётся и следа. Эта динамика показывает, что символ формируется у Кузнецова в процессе преодоления метафоры или, точнее, её трансформации, очаг которой находится в самой метафоре.

О непростом пути к символу, пути, уводившем Кузнецова от метафоры всё дальше и дальше, рассказывает поэма «Золотая гора» (1974). Поэму предпочитают вспоминать лишь в связи с непочтительно-дерзостным отношением поэта к классикам, хотя это не играет какой-либо роли. В «Золотой горе» путь к символу представлен образами фольклорно-мифического характера, дающими перспективу, в которой обозначен исход кузнецовского метафоризма. В семнадцать лет в герое поэмы просыпается душа, то есть именно тогда, когда, по воспоминаниям Кузнецова, он начал видеть «одни метафоры»; он получает «извет» о Золотой горе — обиталище великих мастеров — и покидает родной дом. Уход героя из дома, написанный с огромным драматическим накалом, является, безусловно, отсылкой к истории отношений Кузнецова с матерью, и на это стоит обратить внимание. На пути к Золотой горе герою выпадает три испытания, которые, как можно догадаться, указывают на вехи поэтической биографии Кузнецова. Однако последнее испытание герой пройти отказывается, тем самым нарушая логику эпического (сказочного) сюжета: «/ Подался вспять и мох соскрёб: / «А супротив любовь». // Но усомнился он душой / И руку опустил / На славы камень межевой / И с места своротил. // Открылся чистым небесам / Тугой клубок червей. / И не поверил он глазам / И дерзости своей. // Из-под земли раздался вздох: / — Иди, куда идёшь. / Я сам запутал свой клубок, / И ты его не трожь. // Ты всюду есть, а я нигде, / Но мы в одном кольце. / Ты отражён в любой воде, / А я — в твоём лице. // Душа без имени скорбит. / Мне холодно. Накрой. — / Он молвил: — Небом я накрыт, / А ты моей стопой» (4, 351-352).

Все пути героя высечены на камне, который является могильной плитой его предка (отца): это пути, которые проходит юноша, становясь мужем, каким был его отец. Между тем в герое есть нечто, что делает невозможным для него третий путь. Герою ещё предстоит

встретиться с любовью, но она станет для него осознанием своей полноты, а не испытанием. Очевидно, что осознание полноты может быть достигнуто только после того, как герой откроет тайну «межевого камня славы». Не приходится сомневаться, что разгадка тайны «межевого камня» — это момент обретения символа. Могильная плита разделяет героя и его предка (этот и иной мир) и, сворачивая её, герой устанавливает их единство — то единство, которое выражает символ. Это единство-символ становится пропуском героя на Золотую гору (неслучайно её бессмертные обитатели — поэты иносказания и символа: Гомер и Данте Алигьери). Любовь для героя поэмы выступает препятствием на пути к единству-символу; но если цель героя — олицетворяющий эпос символ, его сомнение в любви должно быть связано с отражающей любовные отношения лирикой, а конкретнее — метафорой. Косвенно на это указывает фигура А.А. Блока, стоящего у подножия Золотой горы среди разного рода подделок и бездарностей; по всей вероятности, поэт не был допущен в сообщество великих мастеров именно за свою (знаменитую) метафору: «Мелькнул в толпе воздушный Блок, / Что Русь назвал женой / И лучше выдумать не мог / В раздумье над страной» (4, 353).

Обретение символа стало главным событием поэтических исканий молодого Кузнецова. Наиболее содержательно поэт рассказал об этом в созданном в последний год его жизни эссе-исповеди «Воззрение» (2003). Разумеется, воспоминания о том времени несут отпечаток знания Кузнецова о символе и мифе, которое пришло к нему намного позже; тем не менее в них прекрасно передана многоцветная палитра чувств, пережитых юным поэтом в период близости к метафоре. Развивая свою поразительную мысль об отце, Кузнецов писал: «Если бы отец вернулся домой живым и невредимым, то трагедия народа была бы для меня умозрительным понятием, и я был бы другим поэтом, впал бы в духовное одичание метафоризма. Начиная с семнадцати лет, я всюду видел одни метафоры. Казалось, ничего страшного. Народные русские загадки сплошь метафоры, но они — как бы живые. А мне то и дело попадались мёртвые, из которых можно было строить только условный мир, а не живой. Я хотел невозможного — реализовать метафору в одном прямом значении. Но в пределах ме-

тафоры это было безнадёжным делом. Эх, если б серп месяца косил луговую траву, как обыкновенный крестьянский серп. Вот было бы чудо! Так я мечтал. Переносный смысл метафоры — это призрак. Я хотел оживить призрак!..» (6, 77).

О подобном желании писал В.Н. Соколов, тогда ещё начинающий поэт, в стихотворении 1948 года: «Как я хочу, чтоб строчки эти / Забыли, что они слова, / А стали: небо, крыши, ветер, / Сырых бульваров дерева! // Чтоб из распахнутой страницы, / Как из открытого окна, / Раздался свист, запели птицы, / Дохнула жизни глубина» (9, 5). Несомненно, в основе представлений о волшебстве поэзии лежит детское чувство бесконечности времени, бесконечности, делавшей единство мира людей и мира природы реальностью человеческого существования. Вероятно, в пору своей юности поэты, и В.Н. Соколов, и Ю.П. Кузнецов, видели в метафоре приём своего рода бесконечного умножения времени. Веровали в это, мечтали, надеялись, хотели. Между тем, в отличие от В.Н. Соколова, Кузнецов довольно скоро признал ошибочность своих ожиданий, хотя это было нелегко сделать.

Важнейшими моментами истории отношений Кузнецова с метафорой выступают убеждённости в способности метафоры выражать «одно прямое значение» и открытие её непригодности к этому. Разочарование в метафоре свидетельствует, что в пору кузнецовских ожиданий чуда вложено в неё было гораздо больше, чем детское чувство. Для чего же поэт требовал, чтобы метафора выражала «одно прямое значение»? Непосредственного ответа на этот вопрос нет. Анализируя поэзию С.А. Есенина, — поэзию метафорическую, за одним-единственным исключением, которое и привлекло его внимание, — Кузнецов пришёл к выводу, что метафору можно «оживить» неким заряженным энергией символом экстрактом: «Оказывается, к метафоре нужно добавить нечто, чего в ней нет и быть не может. Метафора пропала — возник символ. К сожалению, больше таких удач у Есенина не было. Его метафоры только приближаются к символу, но не касаются его. Эта близость создаёт какой-то гальванический воздух, но всё-таки воздух этот мёртв. Значит, метафора способна, как мёртвая вода из сказок, срastить отдельные части в тело, но само тело остаётся мёртвым. Его может оживить живая вода, а она есть в символе и

мифе. Я этого не понимал, но инстинктивно чувствовал. И тогда же написал стихотворение о детстве «Бумажный змей» — мой первый символ. Метафоры ещё года два преследовали меня, но я отмахивался от них «натасканной на образы» рукою. Я использовал эпические сравнения и параллели...» (6, 78).

История столь необычных отношений Кузнецова с метафорой определённым образом параллельна биографическому сюжету поэта. В том же 1965 году, когда у Кузнецова возник первый его символ и, следовательно, произошёл разрыв с метафорой, убедившись в бесплодности литературной жизни Тихорецка и Краснодара, он уезжает в Москву поступать в Литературный институт. Это решение больно ранило его мать; судя по поэме «Золотая гора», он хорошо это видел, но остался непреклонен: «Давно он этого желал — / И кинулся, как зверь. / — Иду! — он весело сказал. / — Куда? — спросила дверь. — // Не оставляй очаг и стол. / Не уходи отсель, / Куда незримо ты вошёл, / Не открывая дверь. // За мною скорбь, любовь и смерть, / И мира не обнять. / Не воздыми руки на дверь, / Не оттолкни, как мать. // — Иду! — сказал он вопреки / И к выходу шагнул. / Не поднял он своей руки, / Ногою оттолкнул» (4, 348).

Ровно через 20 лет, в 1985 году, Кузнецов напишет балладу «Седьмой», вероятно, самое шокирующее своё произведение; темой этой баллады он назвал «преступление сына перед матерью». В одном интервью, рассказывая о «Седьмом» и пытаясь смягчить производимое балладой впечатление, Кузнецов отметил: «балладу «Седьмой» критика не поняла. Эта тема преступления сына перед матерью присутствует в фольклоре. Вспомните греческие мифы об Эдипе. К ней обращался в своих трагедиях Софокл. Да, баллада написана на жестоком материале. / И многие поняли её в бытовом плане. Но если так воспринимать литературу, то «Преступление и наказание» надо считать уголовной хроникой» (6, 122). Миф об Эдипе — далеко не очевидная параллель к «Седьмому» (ничего общего с мифом в балладе не ощущается); однако именно этот миф и позволяет понять замысел стихотворения. Как известно, Эдип совершил преступления — убил отца, царя Лайя, и женился на матери, царице Иокасте, — не по своей воле: они были проявлением неотвратимой судьбы, которой он вовсе не хотел покоряться. Именно судьбой объясняется изображённое в балладе

преступление Седьмого, преступление сына против матери. История так трагически возвратившегося к матери сына — видение одного из семи мудрецов, следящего за взглядом во тьму Великого Сатаны. Это видение можно толковать по-разному, в том числе — и в плоскости политической истории России. Тем не менее внутренняя логика баллады даёт приоритет семейной трактовке видения. «/ Шесть мудрецов глядят на свет, / Седьмой глядит во тьму...» (4, 270). Почему? Мудрость — посылаемый человеку дар, который он обретает в опыте существования, претворение этого дара и есть судьба. Седьмой мудрец смотрит во тьму; скорее всего, тьма — это покров времени, скрывающий прошлое. Если это так, мудрость Седьмого мудреца соотнесена с его видением, в котором события его жизни предстают в таком именно виде. Видение изображает отнюдь не историю Седьмого мудреца; в образах этой истории, возвращаясь к прошлому, мудрец постигает свою вину перед матерью как знак всевластной судьбы. Судьба заставила Седьмого мудреца совершить какой-то оскорбивший его мать поступок, но через этот поступок и пролегла его дорога к предначертанной судьбой мудрости.

Если принять во внимание тот факт, что фокусом баллады «Седьмой» является тема судьбы — силы, которой обречён человек, можно будет предположить, что стихотворение Кузнецова имеет биографический подтекст. Косвенно биографический подтекст «Седьмого» подтверждает сделанное поэтом в эссе «Рождённый в феврале, под водолеем...» признание об отце. Протицируем его ещё раз: «Я коснусь запретного. Мой отец погиб не случайно. Это жестокая правда моей поэтической судьбы. Если бы он вернулся с войны живым, трагедия народа была бы для меня умозрительной, я был бы ненужным поэтом; пошёл бы по боковой линии народной жизни, как обеспеченный генеральский сынок...» (6, 18). Логика высказывания Кузнецова, и в этом нет сомнения, такова: смерть отца стала жертвой, которая требовалась для того, чтобы сын стал «нужным поэтом». Став «нужным поэтом», сын обрёл свою судьбу, а это значит, что гибель отца была предопределена судьбой сына. Совершенно очевидно, что высказывание Кузнецова об отце отвечает мифу о царе Эдипе — той части мифа, которая относится к рассказу об убийстве царя Лайя, отца Эдипа. Если считать, что Кузнецов

рассматривал свои отношения с погибшим отцом через призму мифа о царе Эдипе, естественно будет предположить, что в балладе «Седьмой», отсылающей к той части мифа, которая рассказывает о женитьбе Эдипа на Иокасте, его матери, получили выражение отношения поэта с матерью. Мы полагаем, что в образности баллады «Седьмой» своеобразно преломились события 1965 года, вызванные отъездом Кузнецова в Москву.

Идею о параллельности художественных поисков Кузнецова и его биографического сюжета можно дополнить и со стороны отношений поэта с метафорой. Снова обратимся к уже известному нам пассажиру из «Воззрения». Рассказывая о своём охлаждении к метафоре, Кузнецов писал: «мне то и дело попадались мёртвые [метафоры], из которых можно было строить только условный мир, а не живой. Я хотел невозможного — реализовать метафору в одном прямом значении. Но в пределах метафоры это было безнадежным делом. Эх, если б серп месяца косил луговую траву, как обыкновенный крестьянский серп. Вот было бы чудо! Так я мечтал. Переносный смысл метафоры — это призрак. Я хотел оживить призрак!..» (6, 77). Иначе говоря, пока Кузнецов писал метафорические стихи, его художественный мир был населён призраками; в какой-то момент поэт это осознал и вознегодовал, не желая мириться с этим, ещё недавно — комфортным, положением. Между тем мир призраков, в котором он прожил годы, и его негодование можно увидеть в одном из самых известных стихотворений Кузнецова — «Отцу» (1969).

В этом произведении, не признавая за отцом «права умереть», Кузнецов рассказывает об участии матери (а не своей, чего некоторые критики не хотят замечать даже сегодня (4), утверждая, что поэт писал о накопившихся у него за годы безотцовщины обидах): «// На вдовьем ложе памятью скорбя, / Она детей просила у тебя. // Подобно вспышкам на далёких тучах, / Дарила миру призраков летучих — / Сестёр и братьев, выросших в мозгу... / Кому об этом рассказать смогу?..» (4, 112). Образность этих стихов даёт основание считать, что живший без отца сын рос среди детей-призраков — братьев и сестёр, которые «рождались» у матери, продолжавшей жить с мужем в своей памяти. «Неполученное счастье», о котором сын горестно говорит на могиле отца, в том, что их, матери и сына, мир, созданный «пустотой от-

цовского отсутствия», оказался призрачным. Прежде чем в отчаянии упрекнуть отца, сын, наверно, не раз пытался оживить этот мир. Чем? Стихами. Метафорой. Стихотворение «Отцу» — несомненная параллель сложным отношениям Кузнецова с метафорой. В силу определённых причин, которых мы коснёмся позже, вина за сыновний мир призраков была возложена на отца; однако, если следовать жестокой правде поэтической судьбы Кузнецова, о которой поэт писал в своих биографических эссе, ответственность за этот мир следует связать с матерью — с её заслонившей живую жизнь памятью о муже. Скорее всего, верность памяти мужа и привела Кузнецова к конфликту с матерью — к тому преступлению сына перед матерью, которое поэт, сурово себя осудив, выразил в видении Седьмого мудреца. Этот конфликт очевидным образом параллелен совершенно неожиданно вынесенному отказу Кузнецова жить в мире порождаемых метафорой призраков. Неудивительно, что в 1965 году поэт покинул и мать, и метафору — уехал в Москву и создал свой первый символ.

Следует сказать, что распространённая среди критиков и литературоведов идея о генетической связи поэзии Кузнецова с памятью о погибшем отце (войне) является заблуждением; центральной темой ранних — до 1967 года включительно — стихов поэта является тема, которая под одним углом зрения может быть увидена как расставание с детством, а под другим — как встреча со взрослостью. В стихах этого периода Кузнецов писал о детстве как о поре беззаботной и совершенно счастливой, о мучительной тоске по тому прямо на его глазах уходящему времени и о вызванных приближением взрослой жизни страхах («Пускай останется во мне», «Весёлые годы ушли навсегда...», «Оскудели родные степи...», «Отсмеялись звонки, отзвенели весёлые песни...», «Трясутся ведьмы под стропилами от холода...», «Песня», «Начало», «Мечта», «Старик», «Бородач» и другие). Эти мотивы идут в разрез с брошенной в стихотворении «Отцу» фразой о «неполученном счастье»; но лишь на первый взгляд. Это потом мир сына наполнится летучими призраками братьев и сестёр — сначала в нём царилло счастье. Об этом с ослепляющей читателя откровенностью Кузнецов писал уже в первом своём стихотворении об отце (1954 год): «Настала ночь последняя для многих, / Неясно слышен разговор бойцов.

/ Осколком мины прямо на дороге / Убит был подполковник Кузнецов. // Заплачут дети, мать их зарыдает, / И слёзы литься будут без конца. / Но детям что? Они не понимают, / Как будто вовсе не было отца» (4, 9). Тринадцатилетний Кузнецов с горечью писал о детском беспомоществе, но нельзя не признать, что это был его собственный опыт. Это «как будто вовсе не было отца» и заключает счастливую пору детства поэта: счастье было в матери — в её ни с кем не делимой любви.

Эпос — форма художественного сознания, в которой индивидуальное раскрывается в родовом; поэтому он обращён ко всем и каждому. Однако у поэмы «Дом» был конкретный адресат: вынесенное Кузнецовым из иного мира на зеркальной поверхности поэмы отражение инобытия предназначалось матери поэта. Напомним, «Дому», 1-я редакция которого создавалась в 1972 — 1973 годах, предшествовали такие взвинчено-тревожные стихи, как «Мать, глядящая в одну точку» и «Возвращение». Подтверждением нашей мысли об адресате «Дома» выступает баллада «Четыреста», написанная в 1974 году — по окончании работы над поэмой. Это произведение можно рассматривать как поясняющий замысел «Дома» комментарий.

Баллада «Четыреста» начинается с реминисценции, отсылающей к центральному эпизоду «Битвы спящих» — 2-й главы «Дома». Четыре дня подряд, и ночью, и днём, защищавшие рубеж русские воины «заснули на ходу / С открытыми глазами»: «тело зачерпнуло сон, как воду решето» (4, 337). И в этом сражении-сне (восходящем скорее к бою толстовского капитана Тушина, чем к лирическому субъекту поэтического цикла А.А. Блока «На поле Куликовом», как считается) к Ивану приходит видение жены и сына: «Блеснул Ивану тёмный дом, / Мария на пороге. / У края платья сын мигал, / Как отблеском свеча, / И мать из мрака высекал, / «Ты где? « — отцу крича...» (4, 338). С этого вопроса, заданного сыном матери, и начинается баллада Кузнецова.

Центральная идея баллады «Четыреста» — взыскание погибших на войне отцов. Кузнецов ведёт речь не об официальном почитании героев Великой отечественной войны или вообще о памяти о них. Взыскание погибших необходимо для восстановления естественного состояния мира, отвечающего кругу (циклу) жизненных явлений. Одно из важнейших из них — мужание

сыновей, обретение себя в мужах, подобных погибшим отцам. Близким к этому положению контекстом можно считать стихотворение «Отцу». Живущий в воспоминаниях матери отец наполняет жизнь сына «летучими призраками» — «рождёнными в мозгу» братьями и сёстрами. И в этой ситуации у сына нету шансов повзрослеть: всякий раз, когда отец «возвращается», сын оказывается в сообществе фантомных детей и, как и они, оказывается фантомом (пустотой). Причины этого положения Кузнецов связывал с принесённым войной нарушением векового хода мирового колеса: «Через военное кольцо / Повозка слёз прошла, / Но потеряла колесо / У крымского села. // Во мгле четыреста солдат / Лежат — лицо в лицо. / И где-то тридцать лет подряд / Блуждает колесо. // В одной зажатые горсти / Лежат — ничто и всё. / Объяла вечность их пути, / Как спицы колесо...» (4, 154). Погибшие на Сапун-горе отцы как бы запечатаны в вечности — обрезаны от мира сынов (настоящего), и мир сынов остановился, замер, обездвижился.

Вероятно, Кузнецов развивает в балладе представленную в романе-эпопее «Война и мир» интуицию Л.Н. Толстого, что война — это «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие» (10, 7). Толстовская интуиция соединяет мифический и христианский планы «Четыреста» в единое целое. Обратим внимание на христианский план баллады: он менее заметен, но не менее важен. В центре его — представление о Великой Отечественной войне как о противостоянии не знавших истинной веры отцов дьявольскому злу. Оно возникает уже в поэме «Дом»: «У битвы не было небес, / Земля крушила землю. / Шёл бой в земле — его конец / Терялся во Вселенной» (4, 337). В «Четыреста» это представление выражено развёрнуто и отчётливо. Когда сын, герой баллады, обращается к Сапун-горе, говоря, что желает видеть отца, гора отвечает: «— За полчаса и тридцать лет / Ты был не здесь, дитя» (4, 154). Эта формула создана на основе вызывавших у Кузнецова восхищение стихов «Божественной комедии» (6, 82); в них один из демонов рассказывает Данте и Вергилию о сошествии Иисуса Христа в ад и произведённом этим событием землетрясении, обрушившим мост через пропасть: «Двенадцать сот и шестьдесят шесть лет / Вчера, на пять часов поздней, успело / Протечь с тех пор, как здесь дороги нет...» (2, 129). Речь идёт о страстях Христовых, в частности — о

событиях, которые произошли на второй день пребывания Христа во гробе. Согласно догмату, восходящему к апостолу Петру, после распятия Христос спустился в ад и, сокрушив его ворота, вывел из ада Адама и Еву и ветхозаветных праведников (1Пет. 3:18-19; 4:6). Видение произошедшего на Сапун-горе в 1944 году сражения, в котором пал отец героя баллады, придаёт войне также и апокалиптические черты. На Сапун-горе появляются опоясывающие её семь цепей (колец), усеянные устрашающими ногтями (когтями). Этот образ — контаминация дантовских кругов ада и описанного в «Откровении Иоанна Богослова» выходящего из моря семиголового Зверя (Откр. 13:1-2), которого обычно отождествляют с Антихристом, сыном погибели (дьявола).

Тень сына проникает в потусторонний мир и вызывает из плена вечности отца и его товарищей. Сын приводит держащегося за его тень отца домой — к ожидающей возвращения мужа матери. Тень — инобытийный двойник героя баллады, в её образе Кузнецов варьирует зеркальный щит автора поэмы «Дом». Совершенно очевидно, что образ сына содержит коннотации, отсылающие к подвигу Иисуса Христа, совершённого во имя Отца, подвигу, в котором непосредственно утверждается единство Сына и Отца. Так, герой идёт через свою тень по водам Керченского пролива как посуху. Обратный его путь далёк и мучителен, подобно крестному пути Иисуса: «Штало сына взад-вперёд, / Он тень свою волок. / — Далёк ли путь? — пытал народ. / Он отвечал: — Далёк. // Он вёл четыреста солдат / До милого крыльца. / Он вёл четыреста солдат / И среди них отца» (4, 154). Отец возвращается домой — к жене — в тени своего сына. Отец жив той жизнью, которой его наделяет тень сына. Тень соединяет сына и отца в единстве бытия и инобытия: сын — это бытие погибшего отца, отменяющее его смерть; отец — открывающее сыну его судьбу небытие: тот смысл, который оправдывает жизнь перед лицом будущей смерти и делает смерть недействительной. Образ-символ тени героя баллады «Четыреста» содержит ту логику, которая связывает у Кузнецова его поэтическое становление и гибель отца. Сын и его тень — единый для отца и сына образ — есть тот хозяин (муж), выйти встречать которого герой призывает мать: «— Ты с чем пришёл? — спросила мать. / А он ей говорит: / — Иди хозяина встречать, / Он под окном стоит.

// И встала верная жена / У тени на краю. / — Кто там? — промолвила она. — / Темно. Не узнаю... // — Кто там? — твердит доньине мать, / А сын ей говорит: / — Иди хозяина встречать, / Он под окном стоит...» (4, 154). Неотчётливость образа того, кто вернулся домой, означает, что в сыне и его тени мать видит одновременно сына и мужа. Возвращение матери погибшего мужа и мужание сына освобождают их, мать и сына, из плена замершей фантомной жизни, о котором Кузнецов писал в стихотворении «Отцу», и одновременно восстанавливают естественное состояние мира: «— Россия-мать, Россия-мать, — / Доньине сын твердит, — / Иди хозяина встречать, / Он под окном стоит» (4, 154).

Баллада «Четыреста» завершает возведение метафизического здания дома-поэзии Кузнецова. Выход в пространство поэтических символов, в котором поэт открыл миф, привёл к трансформации темы погибшего отца: эта личная тема превращается в национальную, эпическую не только по форме, но и по сути, тему народной трагедии — предназначенных судьбой страданий. Проследить эту трансформацию можно по стихотворению «Сапоги» (1984). В нём совершенно по-новому осмысливается мотивика ставших визитной карточкой поэта стихотворений «Возвращение» и «Отцу». Образ павшего на войне мужа дан в символе «сапоги». Этот символ содержит коннотации образа, изображавшего у Кузнецова призрак погибшего отца: столба крутящейся пыли. Точнее было бы сказать, что метонимически связанные сапоги и пыль образуют смысловой круг этого символа. В сапогах-пыли образно сдвигаются мотивы страха и фантомного супружеского эроса (повторяя названные выше стихи Кузнецова не только тематически, но и точкой зрения): «Через поля шаги, шаги, / Несётся пыль до неба. / Не бейте землю, сапоги, / Она не даст нам хлеба... // Открыли дверь, и от луны / Мороз пошёл по коже, / Когда седая пыль войны / Легла на вдовье ложе. // Они стояли, как судьба. / Она во тьме стонала. / Наутро смыла пыль с себя, / И пыль землёю стала» (4, 252). Однако эпический подход Кузнецова к символу вносит равновесие в отношение индивидуального и народного начал. Сапоги вернулись домой, прежде побывав в поверженном Берлине: «На третий день войны бойца / Контуженного взяли. / «Ты поведёшь нас до конца!» — Враги ему сказали. // «— Конец в Берлине!»

И враги / Повесили солдата. / Но соскользнули сапоги / На долгий путь возврата. // Шаги, что годы, широки / И раздаются гулко. / По ним судили мужики: / «А ничего обувка!» (4, 252). Сапоги-пыль — это сила, укреплявшая дух продолжавших сражаться товарищей солдата, и это единство мёртвых и живых стало залогом победы Советской армии. Победа, востребованная народом из глубин инобытия, воплощает судьбу России; но это и судьба вдовой солдатки, которой является в её памяти-сне пугающе-желанный призрак погибшего мужа. Одухотворяющее народ единство мёртвых и живых воцаряется между мужем и женой. Вдовья память освобождается от фантомов, ибо смерти нет: упокоенный в земле, погибший муж становится землёй, той землёй, на которой живёт его жена. Не менее показателен, однако, в «Сапогах» и уход Кузнецова от темы безотцовщины. Индивидуальное начало в стихотворении выражено, безусловно, точкой зрения как бы затаившегося в углу в испуге сына. Но оно растворяется в народном начале, олицетворяемом матерью, в котором мать и родина соединены в образе родной земли. Земля приняла отца, и он стал бессмертен, как принявшая его земля.

В конце 1970-х годов Кузнецов вырабатывает гибкую систему поэтических символов, являющую в себе духовное единство народа — мёртвых и живых, она во многом и определила последующий ход творческой работы поэта. Начатый вслепую, на свой страх и риск, художественный поиск привёл Кузнецова сначала к символу, а затем — мифу. Мифичность произведений поэта во многом была связана с фольклорной традицией, транслировавшей народные воззрения, но очень скоро её неотъемлемой частью становится христианское предание. С конца 1980-х годов христианское предание доминирует в мифе Кузнецова. Поздние поэмы Кузнецова — «Путь Христа», «Сошествие во ад» и (оставшийся недописанным) «Рай» — произведения поэта-визионера, в которых, подобно тому, как это произошло в «Комедии» Данте, христианская мистерия становится сокровенно-личным мифом. Эта особенность христианского мифа показывает действенную силу символа в позднем творчестве Кузнецова, претворяющего догматику учения о Христе в экзистенцию поэта.

Поэмы о Христе Кузнецова в определённом смысле были предсказаны его стихами. Обещание этих поэм

можно увидеть в стихотворении поэта «Я пил из черепа отца...» (1977), в своё время вызвавшее в критике много шума и пересудов, но так и оставшееся непонятым. Решение в символе череп-чаша темы отца придаёт стихотворению удивительную эстетическую ёмкость, представленную клубком переплетённых смысловых линий. В зрелых стихах Кузнецова тема отца — это вопрошание о судьбе: о её предопределённости и смысле. Не является исключением и это стихотворение: «Я пил из черепа отца / За правду на земле, / За сказку русского лица / И верный путь во мгле. // Вставали солнце и луна / И чокались со мной. / И повторял я имена, / Забытые землёй» (4, 175).

Символ череп-чаша изображает историю противоречивых отношений поэта с отцом в её ходе — как путь, на который он вступил сыном, а завершил мужем. Это сын дерзко пил из черепа-чаши, а тот, кто отдавал её, был живущий в согласии с миром — солнцем и луной — муж. На непочтительный по отношению к памяти отца поступок бросают ответ устремления сына: не оправдывая сына, они объясняют его дерзость. Сын стремился «к правде на земле», хотел открыть «сказку русского лица» и отыскать «верный путь во мгле». Всё это ему должен был дать отец, но не дал. И вовсе не потому что погиб на фронте. Вспомним: если бы отец остался жив, Кузнецов стал бы ненужным поэтом. Это обстоятельство делает образ отца внутренне противоречивым. Это противоречие в свёрнутом виде присутствовало у Кузнецова в поэме «Дом» и балладе «Четыреста». Подтекст созданного в этих произведениях образа войны отсылает к преданию о сошествии Христа во ад — взыванию праведных отцов, не знавших истинной веры. Эта предстает о павших на полях сражений отцах и определяет символ череп-чаша.

Лежащую на поверхности отсылку этого символа к легенде о гибели киевского князя Святослава Игоревича не так трудно было узнать, как объяснять. Как сообщается в летописи, Святослав был убит во время боя с печенегами, выследившими отряд князя. Печенежский хан Куря велел изготовить из черепа поверженного противника чашу, и пил из неё вместе с женой в знак великого уважения к воинской славе князя. Летописец связал гибель Святослава с отказом принять христианство. Христианство принял его сын, Владимир Святославович, его радением Русь стала христианской страной. Вероятно, крещение Руси

было осмыслено Кузнецовым как предначертание судьбы, в котором сошлись истории павшего на поле боя отца-идолопоклонника и задумавшего спасение живших во тьме неведения предков сына. Эта мысль Кузнецова выступает основой символа черепа-чаши и, преломляясь в нём, просвечивает образно обозначенные в стихотворении отношения сына с отцом.

Отцы были праведны, но не знали веры; это показала война с фашизмом. Неспроста Кузнецов писал в поэме «Дом», передавая диалог старика-отца с воевавшим «за свободу дальних стран» Иваном: «— А ты свободу людям дал? / — Нет, но открыл им небо...» (4, 329). Отец был обречён возвращаться в воспалённых воспоминаниях матери домой — до тех пор, пока на земле не будет правды. Пока сын её не отыщет. Правду, во имя которой был распят Иисус Христос. Баллада «Четыреста» — и об этом тоже. «Сказка русского лица» как бы окликает неувиденный сыном взгляд отца, оставшийся «на почти не хрустящей фотокарточке старой» (4, 12), подсказывая единственно возможный способ видения. Этот способ — укоренённый в поэзии народа образ-символ. В открывающем взгляд отца символе сыну предназначено разрешить свои противоречия и в цельности своей личности познать родовое единство. Символ — тот чаемый сыном «верный путь во мгле», который он не смог бы найти, не испив «из черепа отца». Солнце и луна откликаются на слова-устремления сына: они знают, во имя чего он поднял череп-чашу. Сын, обретая согласие с миром, открывает одухотворя-

ющего существование всякой живой твари Бога. Солнце и луна — это мировое колесо: день и ночь. Солнце и луна — это природа, олицетворяющая Творца мира. Во 2-й строфе стихотворения Кузнецов сжал в символе откровение, о котором поведал Иоанн Богослов: «Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний; то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Азии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию» (Откр. 1:10, 11). Природный мир был создан Господом Богом по Слову и из Слова, которым был Господь, и, значит, в его закономерностях являет себя реальности инобытия. Согласие солнца и луны даёт сыну право прикоснуться к сокровенному знанию. Забытые землёй (живущими) имена — отсылка к образу Адама-номотета, которому Господь доверил наречь в Райском саду «всякую живую душу» (Быт. 2:19). Библейский подтекст стихов Кузнецова свидетельствует, что обречённое сыном знания о забытых землёй именах — дар взыскания погибших, подобный тому, который Господь вручил Иоанну Богослову. Это — дар поэтического слова, слова-символа, ибо лишь в нём человек соприкасается с вечностью и тем единством, в котором неразрывны прошлое и настоящее, отец и сын, личность и народ. ■

*Полный вариант читайте
на сайте журнала rkuban.ru*

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Баратынский Е.А. Полное собрание стихотворений. СПб., 2000.
2. Данте Алигьери. Божественная комедия. СПб., 2006.
3. Канавщиков А. Старик Державин их заметил. Родное — чужое — вселенское // Литературная газета. 2013. № 12. В сети Интернет: <https://lgz.ru/article/12-6408-2013-03-20/starik-derzhavin-ikh-zametil/>.
4. Кузнецов Ю.П. Избранное. Стихотворения. Поэмы. М., 1990.
5. Кузнецов Ю.П. «Надо мною дымится...» // Родная Кубань. 2017. Специальный выпуск.
6. Кузнецов Ю.П. Тропы вечных тем: проза поэта. М., 2015.
7. Огрызко В.В. Непрощённая дерзость. От ниспровержения авторитетов к поощрению подражателей // Кузнецов Ю.П. Тропы вечных тем: проза поэта. М., 2015.
8. Огрызко В.В. Обречённость на одиночество. Судьба русского поэта Юрия Кузнецова. М., 2017.
9. Соколов В.Н. Избранное: Стихи. Поэмы. М., 1989.
10. Толстой Л.Н. Война и мир. Роман. В 2-т. Т. 2. СПб., 1993.
11. Тютчев Ф.И. Русская звезда: Стихи, статьи, письма. М., 1993.
12. Шайтанов И.О. Странный поэт. Юрий Кузнецов // Шайтанов И.О. Дело вкуса. Книга о современной поэзии. М., 2007.
13. Шевченко О.В. Мифологический символ в лирике Юрия Кузнецова о Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2009. № 1.



ЮРИЙ ПАВЛОВ

Родился в 1957 году в городе Кропоткине Краснодарского края. Доктор филологических наук, профессор факультета журналистики Кубанского государственного университета. Член СП России. Критик. Лауреат литературных премий. Живёт в Краснодаре.

ДВЕ РЕДАКЦИИ «ПАСТУХА И ПАСТУШКИ» КАК ПУТЬ К ПОНИМАНИЮ «ПОЗДНЕГО» АСТАФЬЕВА

О душевно-духовном, мировоззренческом, творческом состоянии Виктора Астафьева 1960 – 1980-х годов дают представление и две редакции «Пастуха и пастушки» (1967 – 1971 – 1974 гг. и 1967 – 1971 – 1989 гг.). Вариант произведения 1989 года – это, по сути, негатив чёрно-белой плёнки с изображением писателя в период его творческой «беременности» романом «Прокляты и убиты». Есть все основания утверждать так, ибо работа над произведением началась гораздо раньше тех дат (1990 – 1994), которые значатся как сроки его написания. Об этом свидетельствуют многочисленные высказывания Астафьева 1970 – 1980-х годов. Прочитируем письма, датированные мартом 1978 года, 1 ноября и 26 декабря 1983 года: «...и вот написал я начерно роман о форсировании Днепра» [5, с. 323]; «Маня половину рукописей уже напечатала. Что получается, сказать не могу пока, но что так “развязно” я ещё не писал – это точно, видно, пора пришла» [5, с. 412]; «...и начал я писать сперва крохи, а потом разошёлся и написал за лето пятьсот машинописных страниц военного романа, к которому иду и шёл всю жизнь...» [5, с. 414]. Итак, проявив плёнку и сопоставив две редакции «Пастуха и пастушки», попытаемся понять, как развивался Астафьев, человек и художник.

Сначала обратимся, потом поймёте почему, к истории создания первого варианта произведения. О нём в вузовском учебнике Наума Лейдермана и Марка Липовецкого сообщается: «В книжных публикациях автор поставил даты: 1967 – 1971» [17, с. 120]. Амери-

канский и российский профессора не удосужились хотя бы заглянуть в четырёхтомник Астафьева (изданный в «Молодой гвардии» в 1979 году, где сроки написания повести датируются иначе: 1967 – 1971 – 1974 гг.) или в 15-томник писателя (там приводится другая версия: 1967 – 1971 – 1989 гг.).

Далее авторы учебника утверждают: «За этими датами не только годы напряжённой работы, но и годы, потраченные на “протаскивание” повести в свет. Её несколько лет (разрядка наша. – Ю.П.) “выдерживали” в журнале “Наш современник”, где сам Астафьев был членом редколлегии» [17, с. 120-121]. Понятно, что М. Липовецкий и Н. Лейдерман не любят «Наш современник» (лучший русский журнал), но зачем так грубо лгать. На самом деле ситуация с произведением была такая.

В письме к В. Колыхалову от 16 апреля 1969 года Астафьев сообщает: «Повесть “Пастух и пастушка” (того же размера – 6 листов) пишу уже третий год, а конца работы ещё не видно, и я совершенно не уверен, что кто-либо решится её напечатать» [5, с. 170-171]. Но уже в 1971 году в астафьевском послании Н. Волокитину говорится о повести как о завершённом произведении [5, с. 193]. И в том же году «Пастух и пастушка» была опубликована в восьмом номере «Нашего современника». То есть нескольколетнего «протаскивания» повести в журнале, как уверяют авторы учебника, не было. Было другое, как утверждает Астафьев в поздней, очень сомнительной версии: до «Нашего современника» «Пастух

и пастушка» не прошла в «Звезде», «Знамени», «Новом мире» [5, с. 455 – 457].

Точно то, что повесть вышла в «Нашем современнике» (и позже в книжных издательствах), по выражению её автора, «ощипанной», «с отсечёнными крыльями и перебитой ногой» [5, с. 204]. Из неё исчезли «страниц пятнадцать – семнадцать» [5, с. 225]. На первый взгляд, странно, что Астафьев не может сказать точно, на сколько страниц меньше стала его повесть. Но если вспомнить, что Виктор Петрович в десятках писем, интервью, комментариях ни разу не назвал весенний месяц, когда он впервые оказался на фронте (просто «весной»), такая странность не удивляет.

В 1977 году в истории с укороченным вариантом повести Виктор Петрович винит только себя: «...я сам отказался, и сам виноват остался. Никто меня не ругал, за грудки не брал – всё ласково, ласково...» [5, с. 318]. По другой версии Астафьева, озвученной через двадцать лет, над повестью «кружилось» «редакторское коршунё», «расклёвывало» её.

Интуиция и логика подсказывают, что больше правды в первой версии, рассказанной в доверительном письме. В «Комментариях» Астафьева 1996 года к третьему тому своего собрания сочинений, как и в «Комментариях» к любому тому, отчётливо видна тенденция подправить собственную биографию. В ином случае мы не имели бы уникального явления в истории отечественной литературы: Астафьев – единственный из писателей, кто, опасаясь неправильных толкований, сопроводил личными комментариями каждую книгу своего 15-томника. Есть, видимо, над чем поразмышлять...

Как бы там ни было, на наш взгляд, журнальный и молодоговардейский варианты «Пастуха и пастушки» лучше, чем вариант 1989 года. Редакторско-цензурная правка пошла на пользу повести. Понимаем, какую реакцию вызовет это утверждение, поэтому и не только, конечно, поэтому, скажем кратко о журнально-издательской судьбе текстов Астафьева.

Большинство произведений писателя были в разной степени «кастрированы». А где это делалось (в каком именно журнале, издательстве), думаем, не имеет значения. Достаточно сказать, что тексты Астафьева

«ощипывали» и в его любимом «Новом мире»: как при Александре Твардовском, так и при Сергее Залыгине. «Ощипывали» даже в постсоветское, бесцензурное время. Рассмотрим одну из главных причин редакторских вмешательств в произведения писателя.

Вот что рассказывает Астафьев о том, как отредактировала «Прокляты и убиты» в «Новом мире» Алла Марченко в 1994 году: «Сокращено семь листов (около ста семидесяти машинописных страниц. – Ю.П.) – не входят, текст измаран и исправлен так, что меня оторопь взяла»; «поскольку в сокращение попали самые грубые, самые натуралистические и опасные куски, то видна надёжная рука, всё ещё учитывающая цензуру» [5, с. 676].

В этом же письме, возмущаясь тем, что в «Новом мире» «великолепное название» «Исповедь красной суки» романа Инги Петкевич поменяли на «Свободное падение», Астафьев восклицает: «Эко, эко! Эстетсы-то какие! Академисты-фарисеи!» [5, с. 676]. Думаем, говоря о Петкевич, Виктор Петрович проецирует ситуацию и на себя. Эта эмоциональная оценка ближе к истине, чем его же смехотворная версия о руке, «учитывающей цензуру». Хотя, конечно, слова «эстетсы», «фарисеи» не отражают суть проблемы.

Приведём не характерный, можно сказать, редчайший для Астафьева случай, когда он в оценке подобной ситуации оказался точен. В одной из последних «Затесей» «Худого слова и растение боится» писатель рассказывает историю о том, как на его бранные слова «хозяина-богохульника», прореагировали медуницы и календулы. Они перестали расти на участке Астафьева. Финал этой «Затеси» дидактически назидателен: прозаик просит прощения у растений и мысленно обращается к себе, а по сути — к каждому: «Вот тут и гляди вокруг, думай, прежде чем худое слово уронить на землю, прежде чем оскорбить Богом подаренное тебе растение и благодать всякую» [2, с. 6].

Однако в своём «позднем» творчестве Астафьев активно и широко использовал нецензурную лексику — «язык ада» (А. Проханов). Его произведения не только оскорбляют духовно здорового читателя, но и калечат тех многих, кто писательское богохульство воспринимает как норму жизни и литературы. Поэтому можно понять тех сотрудников журналов и издательств, которые удаляли словесные непотребства в текстах про-

заика. Правда он, начиная с 1989 года, восстановил «справедливость», вернул на место «крылья» и «ноги»... А в некоторых случаях эти «крылья» и «ноги» нарастил задним числом: так сказать, осовременил когда-то написанное. Даже в гениальной «Оде русскому огороду», одном из лучших произведений автора, изучаемом в школе ещё с советских времён, в последней редакции появилось нецензурное слово. Его произносит главный герой — маленький мальчик.

Особенно значима реакция на астафьевское словесное непотребство Евгения Носова — одного из лучших прозаиков второй половины XX века, фронтовика, близкого друга Виктора Петровича. В своём длинном послании Носов подробно и доказательно разбирает многие провальные места первой части романа «Прокляты и убиты». Наталья Розман, бдительный редактор-«доброжелатель», не включила этот текст в эпистолярный дневник «Нет мне ответа...», куда вошли письма Астафьева 1952 — 2001 годов. Поэтому с «запретным» письмом Носова удалось познакомиться 30 декабря 2020 года после получения 15-томника Астафьева из Красноярска. Отдадим должное Виктору Петровичу, который оказался честнее, мужественнее Натальи Розман, и процитируем Носова:

«Ну, прежде всего, категорически возражаю против оголтелой матерщины. Это отнюдь не моё чистоплутство, и в каких-то чрезвычайных обстоятельствах я допускаю матерок (в своих произведениях Носов его не допускал. — Ю.П.). Но не походя, во многом без особой нужды, как у тебя. Это говорит вовсе не о твоей смелости или новаторстве, что ли, а лишь о том, что автор не удержался от соблазна и решил вывернуть себя наизнанку, чтобы все видели, каковы у него потроха. Когда ты пишешь: “Не страшай девку <...> (пять астафьевских слов обрезаны нами. — Ю.П.)” — то сквернит слух не твой герой, а сам автор. Ты становишься в один ряд с этой шпаной. А больше того, посредством этой отвратительной фразы ты унижаешь женщину вообще. Надо иметь в виду, что многие-многие читатели не простят тебе этого. Жизнь и без твоего сквернословия скверна до предела, и если мы с этой скверной вторгнемся ещё и в литературу, в этот храм надежд и чаяний многих людей, то это будет необратимым и ничем не оправданным ударом по чему-то сокровенному, до сих оберегаемому.

Разве матерщина — правда жизни? Убери эти чугунные словеса — а правда всё равно останется в твоей рукописи и ничуть не уменьшится, не побледнеет» [10, с. 399-400].

Сквернословие как авторская стратегия, последовательно реализованная в редакции «Пастуха и пастушки» 1989 года, в романе «Прокляты и убиты», в повестях «Так хочется жить», «Обертон», «Весёлый солдат» и в других произведениях, стратегия, направленная на оскотинивание человека, отличает Астафьева от русских прозаиков-современников (Ф. Абрамова, Е. Носова, В. Белова, В. Распутина, В. Лихоносова, Л. Бородина, Ю. Казакова, Г. Семёнова и многих других) и роднит его с русскоязычными текстопроизводителями (В. Аксёновым, А. Битовым, В. Ерофеевым, Д. Рубиной, В. Сорокиным и т.д.) и некоторыми амбивалентно русскими писателями (Э. Лимоновым, В. Маканиным, З. Прилепиным и др.).

* * *

В письмах 1960 — 1970-х годов Астафьев высказывается о Великой Отечественной войне с позиций, принципиально отличающихся от традиционных. Своими характеристиками писатель целенаправленно и настойчиво дегероизирует поступки и духовно-нравственный облик советских бойцов. Особенно часто и обязательно резко-отрицательно Виктор Петрович отзывается о командирах и политиках.

В письме Астафьева Александру Борщаговскому от 24 февраля 1966 года сначала война традиционно называется «тяжёлой работой», затем звучит оригинальный, собственно астафьевский голос. Виктор Петрович характеризует советских бойцов через их отношение к еде, занимающей наиважнейшее место в его системе ценностей: «...бездельники-политруки, командиры, которые обжирали нас, солдат, и почему-то считали и они и мы, что так оно и быть должно, чтоб они ели с отдельного блюда, а нам разблюдовка не полагалась, нам проросший ячмень, клевер и крапива. Если украдёшь, смародёрствуешь — это твоё» [5, с. 91].

К этому уникальному варианту солдатского питания мы ещё вернёмся в другой статье, сейчас скажем о тех, кто рядовых «обжирал». Они, политруки и командиры, позорно вели себя, по Астафьеву, и как воины, о чём сообщается в письме И. Соловьёвой в 1973 году:

«И вообще к концу войны чины всякие реже и реже появлялись на передовой — хотели выжить, обзавестись бабами и комфортом <...>. За полгода я только раз видел газетчика (это новый воинский чин? — Ю.П.) на передовой <...>. Никакого комиссара на передовой ни разу не видел, кроме капитана Мартынова» [5, с. 213]. Подчеркнём, о конце войны рассуждает человек, для которого она закончилась в сентябре 1944 года, когда Астафьев получил ранение в Польше. К тому же, о каких шести месяцах на передовой идёт речь, если Виктор Петрович, по его словам, за всю войну находился на ней суммарно 28 дней.

В отличие от многих, видящих в Астафьеве выражителя правды о войне, Виктор Петрович в редчайшие минуты трезвомыслия оценивал себя так: «Меня можно обвинить в том, что я не знаю армию. Конечно, откуда я её знаю? Во-первых, служил в запасном полку, там было не до изучения армии. А в окопах? Я больше в госпитале лежал, чем воевал. Чего я навоевал?» [13, с. 3]. В одном из последних абзацев в очень длинных астафьевских «Комментариях» к роману «Прокляты и убиты» в унисон с приведённым высказыванием сообщается: «Я воевал с весны 43-го года и на фронте был очень мало, больше валялся в госпиталях и не испытал того, чего испытали солдаты войны, мыкавшиеся на фронте с 1941-го года» [3, с. 826].

В этом, как и во многих других высказываниях о начале пребывания писателя на фронте, сообщается — «с весны 43-го года». Что стоит за такой странной хронологической расплывчатостью? Весна — это и март, и конец мая, например. И понятно, что означают «лишние» месяцы — три, проведённые на передовой. Можно предположить: странная временная неопределённость вызвана желанием Астафьева увеличить свой боевой «стаж». Да и началом его, видимо, следует считать не весну, а середину лета 43-го года. В астафьевском письме Е. Носову от 20 апреля 1995 года говорится: «Значит, впервые я попал на фронт в Тульскую область, на границе с Орловской. Наступление наше началось почти серединой лета, во фланг Курско-Белгородского выступа» [10, с. 265].

И главное: чтобы делать масштабные выводы, нужно опираться не только на свой фронтовой опыт и личную ненависть ко «всяким чинам». Иначе рождаются фантазийно-нелепые версии, подобные приведённой.

О её «правде»-кривде свидетельствуют, в частности, такие статистические данные. Безвозвратные потери собственноручно офицеров Вооружённых Сил страны составили 7,98 процента [15, с. 145]. Среди же оставшихся на военной службе раненых офицеров на 1 октября 1945 года было 477 077 тысяч человек [15, с. 135].

Астафьевское восприятие командиров 1973 года транслируется в его поздних произведениях, интервью, а также фрагментарно во второй редакции «Пастуха и пастушки». Уже те изменения, которые внёс Астафьев в эту повесть, наглядно свидетельствуют о главном векторе движения его мировоззрения и творчества.

В первой редакции «Пастуха и пастушки» безымянный командующий фронтом изображён как человечный, мудрый, чрезмерно уставший от груза обязанностей военачальник. Он вызывает естественную симпатию у главного героя Бориса Костяева.

Через пятнадцать лет в новой редакции Виктор Петрович не мог, конечно, из этого достойного человека сделать, условно говоря, тупого, жестокого мракобеса: слишком очевидна была бы мировоззренческая флюгерность автора, да и менять в повести пришлось бы многое. Астафьев из первой редакции убрал часть абзаца, концептуально противоречащую тому восприятию войны, которое он утверждал в письмах 1960 — 1990-х годов, в «позднем» творчестве. Приведём этот текст:

«Командующий всё время тыкал однопалой солдатской рукавицей то под один, то под другой глаз, рукавицей же проводил под носом, и столько давнего, мужиковатого, деревенского, мирного было и в этих жестах, и во всей неосанистой фигуре полководца, что защемило-защемило у Бориса внутри, и только сейчас он отчётливо уяснил: есть люди, которым победы и всё на войне достаётся во сто крат тяжелее, чем ему, ваньке-взводному» [7, с. 359].

Позицию автора характеризует в одинаковой степени и изъятое из ранней редакции, и добавленное в новый вариант. Астафьев, отняв у командующего простонародность и огромную ответственность, сделал из переводчицы (прямо по рецепту письма 1973 года) порочную женщину: реальную или потенциальную «жену», «подругу». «Принадлежность» этих «жён», «подруг» в «позднем» творчестве прозаика будет прописана с грязными подробностями. Во второй редакции «Па-

стуха и пастушки» Астафьев сделал первый шаг в этом направлении.

Писатель мелкими штрихами вносит изменения в портрет переводчицы, подчёркивая её особый, изобранный статус. Во второй редакции полубок девушки становится «приталенным», шапка — «из дорожного меха», появляются «чёрные валеночки». И если в первой редакции героиня «что-то говорила старенькому солдату по-немецки» [7, с. 360], то во второй — она «вежливо приобняла немчика, отводя его в сторону и воркуя» [8, с. 181]. Язык Астафьева требует хотя бы краткого комментария.

Неприязнь к герою, как это часто бывает у писателя, оборачивается утратой элементарного чувства слова. Не могла «ворковать» героиня с пленным по нескольким очевидным причинам. К тому же, зачем солдата называть «немчиком», да ещё в предложении, где уже есть «валеночки»? Странно, что и Астафьев, и его редакторы не заметили чрезмерную концентрацию, перебор слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами на условную единицу текста.

Но вернёмся к переводчице, «воркующей» с «немчиком». Писатель, слепо влюблённый в названные суффиксы, продолжает предсказуемо. «Старикашка-немчик» «не брал пистолетик, пятился, и тогда переводчица снова взяла его под руку и запела, заворковала что-то тёплое, нежное, бархатисто-чувствительное (ещё одна запредельно-фальшивая сцена. — *Ю.П.*), не переставая в то же время стрелять глазами во всё густеющее офицерье (вот она устойчивая неприязнь к «чинам», проявленная на лексическом уровне. — *Ю.П.*), и с удовольствием отмечала, что её видят и любят (любят? — *Ю.П.*) глазами» [8, с. 172]. Если перефразировать известное высказывание шукшинского Егора Прокудина: женщина к разврату готова. На что даже намёка в первой редакции не было.

В «поздней» редакции «Пастуха и пастушки» Астафьев «подрихтовал» ещё один женский образ — безымянной девушки-санитара. Она (зимой, в лютый холод), потеряв шапку и рукавицы, перевязывает раненых. Такая ситуация — санинструктор на передовой во время боя — в «Прокляты и убиты» и «Весёлом солдате» не просто не встречается, она в принципе не возможна. Подобная ситуация не вписывается в видение войны

«позднего» Астафьева. Он неоднократно пытался поставить под сомнение очевидное, создавая в присущей ему ёрнической манере альтернативную реальность.

Вот и в редакции 1989 года появились строки аналогичной направленности: «Санитара не дождёшься, нет» [8, с. 175], а и без того ироничную фразу о «кучерявых девицах» из кинофильмов, волокущих на себе раненых, «невзирая на мужицкий вес», значительно усилил словами: «да ещё с песней» [8, с. 175]. В обеих редакциях данный сюжет заканчивается словами: «Но тут не кино». Кино, достоверно или недостоверно изображающее любые события в годы войны, не может быть доказательством или опровержением происшедшего в реальности. Но именно такой логикой руководствуется Астафьев в «Пастухе и пастушке».

Вопреки отвлечённой логике писательского холодного рассудка, во время Великой войны именно девушки спасали бойцов разного веса, чему есть многочисленные и разнообразные подтверждения. Астафьев же и за два года до смерти не верит в «кучерявых» спасительниц, в медиков на передовой и предпочитает изображать их действия так: «Как стемнело <...> тут и санинструкторы нашлись, даже полковая медицина объявилась, помогают сердешным, в тыл эвакуируют» [2, с. 26].

В первой же редакции «Пастуха и пастушки» (не берёмся судить о причинах) Астафьев, изображая действия санинструктора, следует жизненной правде: «Девушка исполняла свою работу. И всем надо было её исполнять, преодолевая себя и ту расслабленность, которую давала передышка...» [7, с. 310]. Абзац, начинающийся приведёнными словами и пафосно вырастающий из «Войны и мира», во второй редакции говоряще отсутствует.

Эпизод в третьей редакции, где девушка поит раненых трофейным шнапсом [7, с. 315], эпизод, в котором через сообщаемые подробности она изображена как душевный и отзывчивый профессионал, в поздней редакции свёлся к словам: «весь шнапс разделили по раненым» [8, с. 140].

Исчезли из перестроечного варианта повести и «кургузая, насквозь продуваемая телогрейка» девушки [7, с. 316], и внутренний монолог Бориса Костяева в 4/5 страницы. В этом монологе выражено восхищение героя бывальными фронтовиками, «третий год войну ломающими» [7, с. 314]. Среди них Костяевым-Астафьевым

особо выделяется санинструктор, о которой говорится проникновенно-сочувственно и сущностно-точно: «В первую голову он поклонился бы вот этой, смертельно уставшей девушке с мужицкими прокуренными пальцами, с грязью в ушах, с синяками, наплывшими под глазами, с желтушными от табака губами, — девушке, которой и возраст-то нельзя было определить, — может, девятнадцать, а может, все тридцать» [7, с. 314].

В новой редакции головной убор с убитого связиста, который натягивает на свою голову Мохнаков, стал идеологически нейтральным: шапка «старым коршуным гнездом громоздилась на верхушке головы старшины» [8, с. 139]. В прежнем варианте повести о шапке сообщалось следующее: «На ней, тёмной, холодной, заношенной, особенно ярко и празднично светилась капля звезды — совсем недавно, с неделю назад всей пехотной роте выдали новые, «настоящие» звёздочки взамен жестяных, своеручно вырезанных бойцами из консервных банок» [7, с. 312–313].

Ясно, что данный сюжет Астафьеву никто не мог навязать. Значит, звёздная лакуна в перестроенной редакции произведения — идеологически обусловленное насилие писателя над реальностью? Ещё более очевидно, что в одном из вариантов «Пастуха и пастушки» Астафьев проявил себя как политическая проститутка...

В 1970 — 1980-е годы многие читатели, критики, литературоведы восприняли смерть Мохнакова, бросившегося с миной под немецкий танк как акт самопожертвования во имя других. Однако, из признания самого Мохнакова, слов Костяева, авторской характеристики [7, с. 421] следует, что ещё до физической смерти сержанта его душу, сердце убила война. По сути, поступок Мохнакова (при всей его внешней героичности) — самоубийство человека, которому нечем и незачем жить.

В новой же редакции первопричиной самопожертвования-самоубийства сержанта стала его венерическая болезнь, «неизлечимая в окопах» [8, с. 241]. Таким образом, утверждается принципиально иная версия гибели героя: всему виной его греховно-порочная сущность. Одновременно Астафьев, движимый пацифистским пафосом (главным пафосом обеих редакций), искусственно привязывает к телу сержанта, «поражённому заразой» [8, с. 241], его сердце, «выгоревшее на войне» [8, с. 241]. Как видим, писатель, дословно повторяющий

первоначальную версию, последователен в утверждении художественной неправды.

Полностью отсутствует в новой редакции герой, игравший важную сюжетно-смысловую роль в произведении и названный автором «вездесущим Хвёдором Хвомичом» [7, с. 325]. Не вызывает сомнений, что способствовало абортированию сего персонажа.

Как известно, Астафьев в последние десятилетия своей жизни украинцев явно не жаловал, давая им преимущественно резкие, обобщённо-негативные характеристики. Такие, например, как в повести «Весёлый солдат» и в романе «Прокляты и убиты»: «Если только хохла убедишь, что как получишь документы и станешь директором комбината или хлебозавода, то возьмёшь его к себе начальником военизированной охраны либо командиром пожарной команды — тут же куда хочешь, тебя пропустит. Хоть в рай без контрамарки» [1, с. 399]; «...тут же мы поступили в распоряжение Семёна Черевченко, который кем-то и когда-то был выбран старшим, скорей всего, и не был выбран, скорей всего, сам пробились на должность, потому как без должности никакой хохол жить не может, и попади он, к примеру, под оккупацию, то уж непременно хоть старшиной хутора, хоть бригадным полицаем, но был бы» [1, с. 294]; «...а в этой армии к тому же командиры почти сплошь хохлы, вечные служаки, подпевалы и хамы...» [9, с. 350]; «Да у хохла и жиды одалживаться — худая примета...» [9, с. 623].

Тем украинцам и не украинцам, кто оскорбился от прочитанного и стал клясть москалей, и не только им, напомним: о русских, евреях, грузинах и многих других народах Астафьев высказывался ещё более отрицательно-уничтожительно. К тому же, и это главное, собственно русским (то есть религиозно-духовно-культурно русским) Астафьева мы точно не назовём.

Теперь вернёмся к Хвёдору Хвомичу. Для «позднего» Астафьева он — пожалуй, самый неудобный, «контрреволюционный» персонаж. Хвёдор Хвомич — разнонаправленное опровержение того представления о человеке и времени (об украинцах в частности), которое Виктор Петрович настойчиво утверждал в своём зрелом творчестве. Хвёдор Хвомич, оказавшись на оккупированной территории, стал не старшиной хутора или полицаем, а «связным у партизан» [7, с. 323]. Он, плохо одетый, в «дранной телогрейчешке» «напяливать <...> что-либо

фрицевское на себя <...> решительно не хотел» [7, с. 323].

В романе «Прокляты и убиты» на вопрос Булдакова, воровал ли Фенифатьев в колхозе, тот ответил: «А кто с его не воровал? Колхоз, он за тем и есть, чтобы всё токо и воровали» [9, с. 392]. «Правота» героя чуть ниже подтверждается авторской характеристикой: «...мошенничать, надувать, воровать и жульничать по-мелкому, как и все советские колхозники («все», повторимся, никогда, ни в какое время не бывает; «все» — только у людей, мыслящих шаблонно, примитивно. — Ю.П.), давно навык, иначе не выжить в социалистической системе» [9, с. 392]. Прокомментируем только последнюю часть этого сплошь фактологически и сущностно уязвимого суждения. Астафьев всех советских людей делает безнравственными и бесчестными: мошенниками, жуликами и т.д. Редко кто до такого явного абсурда опускался и опускается.

Понятно, что в картину мира такого «мыслителя» Хвёдор Хвомич не только не вписывается, он её разрушает. Герой даже под немцами заботится о колхозном имуществе, пряча трактор в лесу и «твёрдо веруя, что наши придут и машина ещё послужит фронту и колхозу» [7, с. 323].

Однако, самые взрывоопасные, напроць неприемлемые для «позднего» Астафьева слова произносит Хвёдор Хвомич, глядя на убитых немцами старика-пастуха и старуху-пастушку: «Воны богу молились, а ции гады “з намы бог” на рэмню написалы и ось як божьих людын... Цэ ж...» [7, с. 325] (при всей «несистемности», «неправильности» украинского языка, не вызывает сомнений, что слова «бог» и «гады» герой должен произносить иначе. В астафьевской «Слякотной осени» первое слово произносится точнее: «Х-хосподи!»). Если некоторые идеологически неокрашенные фразы Хвёдора Хвомича в новой редакции стали авторскими, то приведённое высказывание исчезнувшего героя в принципе не могло попасть в перестроечный вариант произведения.

В 1990-е годы через надпись на ремне Астафьев принципиально иначе, чем Хвёдор Хвомич, характеризует не только фашистов, но и красноармейцев. Писатель становится адвокатом первых и обвинителем вторых. Например, в 1994 году Виктор Петрович сделал такое «открытие»: «Мы были п е р в о й (здесь и далее

в цитатах разрядкой выделили астафьевскую более чем очевидную чушь, которую оставили без комментариев. — Ю.П.) армией в мире, что воевала без Бога... Даже у фашистов, которых мы о ч е р н и л и всяко, хотя во м н о г о м п р е в з о ш л и, на пряжке было написано: «С нами Бог», и, может, оттого не все они обалдели, не творили уж самых страшных преступлений» [4, с. 20].

Как говорится, лиха беда начало. И уже в следующем абзаце Астафьев реабилитирует всех цивилизованных варваров-преступников во главе с их идеологами: «Мы цитируем Розенберга, приводим только крайние высказывания (из лексико-синтаксической логики предложения следует, что у Розенберга есть высказывание, не вызывающие у Виктора Петровича возражений. — Ю.П.), но и наполеоновская, и немецкая армии шли завоёвывать и осваивать дикий край» [4, с. 20]. Как видим, Астафьев солидаризуется с логикой врагов России, пытавшихся её уничтожить. Впечатляет и писательский людоедский анаколуп — «осваивать дикий край».

Естественно, что одними интервью Астафьев не ограничился, транслируя схожие оценки в своих текстах. Приведём сравнительные характеристики фашистов и красноармейцев из повести «Обертон» и «Комментариев» к роману «Прокляты и убиты»: «Но на пути к дому вставали стеной так называемые органы, где орудовали орлы по х л е щ е г е с т а п о в с к и х к о с т о л о м о в» [6, с. 36]; «...мужиков-переселенцев, которые не ушли с Красной Армией, немцы заставили служить в полиции, баб — работать на свёкле. Муж хозяйки и старший сын состояли полициями, и советские к а р а т е л и их расстреляли» [6, с. 41]; «...нет, немцы не били её и не пользовали. Червоноармейцы тоже не били, но пользоваться пользовали...» [6, с. 41]; «...жители этих сёл боялись прихода н е о к к у п а н т о в — н е м ц е в — эти расстреляют и уходят, ибо отбирать у жителей больше нечего; осенью брали от колхозного урожая половину, в отличие от коммунистов, привыкших забирать у крестьян всё до зёрнышка.

Вслед за нашей армией тащилась н е м е н е е м н о г о ч и с л е н н а я армия к а р а т е л е й, которая жаждала работы, иначе на передовую отправят. Эти уж не щадили никого. Вот и настреляли миллионы (??? — Ю.П.) — старательные воины. Да ведь и с е м ь и этих погубленных людей преследовались и погибали. Это сколько же

народу легло в землю по самому справедливому суду?!» [9, с. 810]; «В Германии находились желающие «посмотреть» и «пострелять» (евреев. — Ю.П.), но находились и те, кто отказывался стрелять и личным приказом Гимmlера такие немцы не преследовались, а у нас судили, гноили и стреляли только за «недонесение» — вот и вся разница между гитлеровцами и нашими матерьющим фашизмом» [9, с. 810-811].

Кошунственные байки от пропагандиста Астафьева (об этих составляющих его таланта наша следующая статья), свидетельствуют о том, до какого интеллектуального убожества и маразма дошёл писатель, движимый ненавистью к советской власти, коммунистам.

Понимаем, что в США и в других цивилизованных профашистских странах, на Украине в первую очередь, как и среди нашей либеральной прозападной русофобской интеллигенции, представляющей власть и оппозицию, астафьевские откровения воспринимались и воспринимаются иначе. Более того, многочисленные, «независимые» пропагандисты настойчиво дудят в унисон с Астафьевым, готовят почву для, как они любят выражаться, реализации права народа на восстание, то есть для прихода к власти либеральных фашистов... Вернёмся, однако, к «Пастуху и пастушке».

В письме Ирине Стрелковой в июне 1974 года Астафьев рассказал об истории создания, публикации повести и своём отношении к её героям. Тему любви в этом произведении писатель называет главной. Поэтому и возникает у него вопрос: «Неужели, думая, мы разучились любить, чувствовать, прощать (запятая отсутствует в первоисточнике. — Ю.П.) и из наших отношений даже загадочность исчезла? Неужели романтичность-то нашу душу оставила?» [5, с. 224]. Однако, из дальнейших рассуждений Астафьева стало ясно, что главное для него — «любовь грешная и земная». И тут же последовало неожиданное утверждение писателя: «Ведь в ту пору в литературе не только про постель, но и про то, что нас не в капусте нашли, писать считалось предосудительно» [5, с. 224].

Мы, конечно, не забыли, что Астафьев — любитель сочинять самые невероятные истории. Но всё же, зачем рассказывать Ирине Стрелковой, умному критику и публицисту, нелепую байку про капусту, не имеющую никакого отношения к реалиям литературы 1960 — 1970-х

годов. Другое дело, и, думаем, Виктор Петрович этого не понимал, многие его современники писали о любви, следуя традициям русской классики XIX века. А в ней — не мы сие точно заметили — описание любви заканчивается тогда, когда во французской литературе оно только начинается. И в прозе 1960 — 1970-х годов тема природы рождения детей, конечно, не была предосудительной.

Приведём пример, не вписывающийся в отвлечённо-фантазийную версию писателя. В повести Василия Белова «Привычное дело», вышедшей на 5 лет раньше «Пастуха и пастушки» и очень высоко оценённой Виктором Петровичем, в главе «Горячая любовь» читаем: «После этого Иван Африканович не мог жениться два года, а на третий женился. На молчаливой девке из дальних заозёрных мест. Она засыпала на его руке тотчас же, бездушная, как нетопленная печь... У них была холодная любовь: дети не рождались. <...> Вот с Катериной любовь горячая...» [12, с. 21]. Девять детей на свет появилось.

Астафьева возмущало утверждение многих критиков, что Борис Костяев умер от любви. Причины его смерти выясним позже, пока же разберёмся в чувствах главных героев повести.

Виктор Петрович многократно упоминал Бунина в своих письмах, интервью, художественных текстах. Астафьев отмечал его общепризнанное редчайшее художественное мастерство и обращал особое внимание на то, что по-разному можно было использовать в своём творчестве. Например, писатель любил, ссылаясь на Бунина, называть Ленина сифилитиком. Но, конечно, более значимо и знаково его стремление научиться у автора «Тёмных аллея» изображению любви-страсти в её греховных проявлениях.

Это желание возникло у Виктора Петровича именно в момент работы над «Пастухом и пастушкой», о чём говорится в письме от 23 ноября 1967 года: «он и она всю ночь вдвоём в грехе, на грани отчаяния, истерики и потопившего их чувства» [5, с. 152]. Свой личный, «слишком мизерный» «опыт общения с женщинами», как следует из этого же письма, Астафьев хотел компенсировать чтением «старого грешника» Ивана Бунина. Точечные результаты этой «учёбы» рассмотрим на примере «Пастуха и пастушки».

Думаем, не случайно в романе «Прокляты и убиты»

вспоминается рассказ Бунина «Солнечный удар». Образ, вынесенный в название этого произведения, является в разной степени эквивалентом чувств не только трёх героев этого романа, но и Бориса Костяева и Люси из «Пастуха и пастушки».

Есть несколько очевидных сюжетно-образных точек пересечения рассказа Бунина и повести Астафьева. Любовь-страсть обоих произведений длится одну ночь. Бунинский поручик не может продлить, излить своё чувство в телеграмме (что он хотел сделать), так как не знает «ни фамилии, ни имени» своей возлюбленной. Астафьевский Костяев, получивший от замполита сказочный подарок (возможность увидеться с Люсей), отказывается от этого предложения, ибо не знает фамилии и адрес девушки. Лицо поручика после «солнечного удара» «имело теперь возбуждённое, сумасшедшее выражение» [14, с. 244]. По сути, таким же предстаёт в беседе с замполитом Костяев.

Внешне-внутренние последствия «солнечного удара» для героев таковы. Поручик чувствовал «невозможность» избавиться «от этой внезапной, неожиданной любви» и ощущал себя «постаревшим на десять лет» [14, с. 245]. В облике Костяева замполит отмечает «бездонную горечь» [7, с. 410], «тоску, прожигающую глаза» [7, с. 411]. Астафьевский герой испытывает примерно то же, что и бунинский поручик — «ненужность всей своей дальнейшей жизни» [14, с. 241].

Как видим, у критиков, о которых с возмущением писал Астафьев, были основания называть любовь Костяева (точнее, любовь-страсть) одной из причин его смерти. Лишь Валентин Курбатов в статье-предисловии к 4-томнику Астафьева 1979 года совместил приведённый подход с принципиально иным.

Сначала «Пастух и пастушка» характеризуется критиком вполне традиционно: «Обманчиво сентиментальная пастораль о короткой встрече лейтенанта Бориса Костяева с девушкой на военной дороге, о мгновенной любви среди тьмы и о бесконечной разлуке, убившей героя (разрядка наша. — Ю.П.)» [16, с. 18].

Однако через три страницы Курбатов заявил, что «критика оказалась не готова (прямо по-астафьевски, по-солженицынски, по-коммунистически-либерастически, ущербно-глобально — «критика». — Ю.П.) к разговору» на уровне «анализа качественных перемен

психологии военного человека» [16, с. 21]. Критика, по Курбатову, не поняла смысла произведения Астафьева, который определяется так: через «свет любви» обнажается «трагическая обречённость тех, кто приносившись не мог, кто не умел приспособить душу, кто вправду в войне и мире хотел быть един и погибал от собственной твёрдости, кто не умел сделать смерть приемлемой повседневностью» [16, с. 23].

Уверены, что данную версию Курбатову «подсказал» Астафьев в письме от 14 июня 1976-го года, где утверждается: «мой Борис Костяев не влез в эту привычку (к смерти. — Ю.П.), не вынес страсти этакой...» [5, с. 287]. Критик, придав этим словам типологически-концептуальный масштаб, получил, на наш взгляд, очевидно-ошибочный результат: все достойные воины, оказывается, были обречены на смерть по собственному желанию. Таким образом, Курбатов невольно продемонстрировал изначальную ущербность астафьевской версии.

Правда, в перестроенном варианте «Пастуха и пастушки» появились три предложения, перечёркивающие данную версию Астафьева-Курбатова: «Привык. Ко всему. Притерпелся» [8, с. 344]. Речь идёт, уточним, о восприятии Костяевым смерти Шкалика. Это вкрапление, ничего не меняющее в образе героя и в позиции автора, лишний раз демонстрирует, насколько был не объективен и переменчив в своих оценках писатель.

Астафьев, автор повести «Пастух и пастушка» и её интерпретатор, а также многие исследователи литературы проигнорировали, на наш взгляд, очевидное. Душевно-чистый, добрый, романтичный Костяев оказался в конце концов духовно-слабым человеком. Он не выдержал испытания войной и чувством к женщине. Любовь-страсть Бориса не переросла в любовь духовную, жертвенную (как происходит, например, с героем лучшей астафьевской повести «Звездопад» Михаилом Ерофеевым). В амбивалентной личности Костяева берёт вверх эгоцентрическое начало. Поэтому закономерно его отречение от всего, что делает человека человеком: любимой девушки, родителей, народа, Родины.

Нежелание Костяева жить, его, по сути, дезертирство, самоубийство обусловлены не усталостью души (эту астафьевскую версию, существующую в обеих редакциях повести, повторяют Н. Лейдерман и М. Ли-

повецкий в своём учебнике), а вполне определенным, иным ходом мыслей, эгоцентрической системой ценностей. Приведём две сильно усечённые цитаты, подтверждающие сказанное.

Первая цитата, где буквально по «пунктам» объясняется необходимость ухода из жизни, взята из раннего варианта повести: «...а главное, не напрягая себя, свою волю, силу, чтобы жить дальше. Зачем? Для чего? Чтобы победить и вернуться домой? Но победят и без него, это уже теперь совершенно ясно <...>».

Ну а отец с матерью? <...> Но поздно или рано я всё равно ушёл бы от них, отделился б для другой жизни. Так не всё ли равно...» [7, с. 429]. «Отделиться» и умереть — явно не однородные события...

Далее Борис очень своеобразно вспоминает «Люсю!» как «празднично высвеченную вывеску», вспоминает, не причиняя себе боль и «не оправдываясь»...

И не случайно размышления героя завершаются всплывшими в его памяти словами, как минимум, оправдывающими добровольный уход: «Смерть, как и жизнь, у каждого своя. Человек свободен в выборе смерти, может быть, в этом только и свободен...» [7, с. 429]

Думаем, дополнительные комментарии к этому духовному саморазоблачению Костяева не требуются. Ещё один эпизод, выявляющий эгоцентрическую сущность героя, — его реакция на живое, грустно-радостное восприятие соседом по вагону увиденного за окном. Приведём отрывок, имеющийся в обеих редакциях повести: «Ну что он, вот этот мужичонка, радующийся воскресению своему? (Как видим, причина радости названа неверно, ибо определена всё по тому же лекалу. — Ю.П.) Какое уж такое счастье ждёт его? Будет вечно копать в земле, а жить впроголодь, однажды сунется в эту же землю» [8, с. 251].

Евгений Носов, характеризуя первую часть романа «Прокляты и убиты» справедливо назвал «слезливый элемент» (местами нарочитый, сделанный) особенностью стиля Астафьева. Вот и в «Пастухе и пастушке» этот «слезливый элемент», сильное, сентименталистско-романтическое начало и высочайшее художественное мастерство в изображении военных сцен мешают многим объективно, трезво оценить произведение, его героев и главный пафос.

Конечно, можно и нужно жалеть Костяева как не-

счастливого, слабого человека, но нельзя оправдывать, тем более, «облагораживать» его выбор. Духовный человек должен противостоять любым обстоятельствам. Например, Иван Тимофеевич (герой рассказа В.Белова «Весна»), потеряв на войне трех сыновей, умершую от горя жену, оказался в более беспросветном положении, чем астафьевский Костяев. Но, испытав греховное искушение, герой приходит к неизбежному, единственно-правильному решению, о котором Белов говорит так: «Надо было жить, сеять хлеб, дышать и ходить по этой трудной земле, потому что другому некому было делать всё это» [11, с. 375]

Итак, пацифистский пафос, не всегда последовательно, проявляется в «Пастухе и пастушке» через рассмотренные нами редакции произведения, образы героев и позицию автора. Этот пафос набрал ещё большую силу и стал разнообразнее в способах его выражения в астафьевских произведениях 1990-х годов. А речи Ланцова из перестроечного варианта повести (искусственные, выпирающие, идеологические челюсти), где только не «проросли» у «позднего» Астафьева.

Не вызывает сомнения, что с «Пастуха и пастушки» писатель (одним из первых в отечественной литературе) начал творить внешне красивый, сентиментально-романтический, но смертельно опасный миф для человека, народа, государства. Его суть, явно солидаризуясь с позицией Астафьева, точно выразили в своём учебнике для вузов Наум Лейдерман и Марк Липовецкий: «В “Пастухе и пастушке” война предстаёт как Апокалипсис — как некое вселенское зло, жертвами которого становятся все, русские и немцы, мужчины и женщины, юнцы и старцы» [17, с.121].

Нам нужно трезво осознать, что большинство сегодняшних учителей, преподавателей вузов, журналистов и т. д., говоря о войне, транслируют подобные взгляды. Поэтому Коль из Нового Уренгоя сегодня, видимо, уже миллионы. И Виктор Петрович, наверняка, был бы рад этому катастрофическому явлению.

Обращаясь не к людям без памяти и не к ненавистникам Отечества, не можем не сказать о почти забытом очевидном. Во время войны, когда враг приходит на твою землю, то даже для духовно-незрячих людей становится очевидной эфемерность, греховность, преступность пацифистских идей. Если, конечно, в человеке

есть то чувство, которое, по словам Л.Н. Толстого (главного оппонента Астафьева при написании его текстов о войне), «лежало в наших отцах» [18, с. 314]. И тогда достойные сыны Родины, подобно Андрею Болконскому и Пьеру Безухову накануне Бородинского сражения, охвачены далеко не политкорректными мыслями. Да, есть очень много причин, вслух не озвучиваемых, у тех, кто так упорно и преступно хочет изъять «Войну и мир» из школьной программы...

В заключении этой статьи приведём часть беседы Андрея Болконского и Пьера Безухова: «Французы разорили мой дом и идут разорить Москву, и оскорбили и оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои, они преступники все, по моим понятиям. И так же думает Тимохин и вся армия. Надо их казнить. Ежели они враги мои, то не могут быть друзьями, как бы они там ни разговаривали в Тильзите.

— Да, да, — проговорил Пьер, блестящими глазами глядя на князя Андрея, — я совершенно, совершенно согласен с вами!

Тот вопрос, который с Можайской горы и во весь этот день тревожил Пьера, теперь представился ему совершенно ясным и вполне разрешенным. Он понял теперь весь смысл и всё значение этой войны и предстоящего сражения. Всё, что он видел в этот день, все значительные, строгие выражения лиц, которые он мельком видел, осветились для него новым светом. Он понял ту скрытую (*latente*), как говорится в физике, теплоту патриотизма, которая была во всех тех людях, которых он видел, и которая объясняла ему то, зачем все эти люди спокойно и как будто легкомысленно готовились к смерти» [18, с. 238-239]. ■

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Астафьев В.П. Весёлый солдат // Астафьев В. Царь-рыба : повести и рассказы. СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. — С. 259 — 496.
2. Астафьев В.П. Затеси. Новая тетрадь // Новый мир. 1999. № 8. С. 5—77.
3. Астафьев В.П. Комментарий // В.П. Астафьев. Прокляты и убиты. СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. С. 803 — 826.
4. Астафьев В.П. Мы не на земле живем — на мешке с костями // В. П. Астафьев. Новая газета, 2014. № 47.
5. Астафьев В.П. Нет мне ответа... : эпистолярный дневник. М.: ЭКСМО, 2012. — 896 с.
6. Астафьев В.П. Обертон // Новый мир. 1996. № 8.
7. Астафьев В.П. Пастух и пастушка // Астафьев В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. М. : Молодая гвардия, 1979. — 493 с.
8. Астафьев В.П. Пастух и пастушка // Астафьев В. Царь-рыба : повести и рассказы. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. С. 127 — 256.
9. Астафьев В.П. Прокляты и убиты. СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. — 832 с.
10. Астафьев В.П. Собр. соч.: В 15 т. Т. 15.: Письма 1990 — 1997 гг. Красноярск : ПИК «Офсет», 1988. — 512 с.
11. Белов В.И. Весна // В.И. Белов Собр. соч.: В 7 т. Т. 1. : Стихотворения и поэмы. Повести. Рассказы. М. : РИЦ «Классика», 2011. — 608 с.
12. Белов В.И. Привычное дело // В.И. Белов. Собр. соч.: В 7 т. Т. 2. : Повести и рассказы. М. : РИЦ «Классика», 2011. — 600 с.
13. Беседа В. Астафьева и К. Андреева // Литературная газета. 2002. № 35.
14. Бунин И.А. Собр.соч. : В 9 т. Т.5. : Повести и рассказы 1917 — 1930. М. : Художественная литература, 1966. — 543 с.
15. Кривошеев, Г.Ф. Гриф секретности снят: Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах // Под общ. ред. Г.Ф. Кривошеева. М., 1993. С.145
16. Курбатов В. Книга одной жизни // В. П. Астафьев Собр. соч.: В 4 т. Т.1. : Стародуб; Перевал; Звездопад; Пастух и пастушка; Ода русскому огороду. М.: Молодая гвардия, 1979. — 493 с.
17. Лейдерман Н. Современная русская литература: 1950 — 1990-е. // Н.Л. Лейдерман, М.Н. Липовецкий. В 2 т. Т.2. : 1968 — 1990. М.: Издательский центр «Академия», 2006. — 688 с.
18. Толстой Л.Н. Война и мир // Л.Н. Толстой. Полн. Собр. соч.: В 20 т. М. : Художественная литература, 1962. — 448 с.



ЭЛИНА ОПЛЕТАЕВА

Родилась в Краснодаре.
Студентка 2-го курса магистратуры факультета журналистики КубГУ. Работает пресс-атташе Всероссийского школьного чемпионата по баскетболу «Локобаскет-Школьная лига».

К. СЕРЕБРЕННИКОВ + К. БОГОМОЛОВ = ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — это деятельность, напрямую связанная с театром в академическом смысле слова, т.е. все то, что относится к функционированию театра как вида искусства.

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — это деятельность других организаций, отличных от театра как такового, например, школьная самодеятельность, детсадовская развлекаловка, фестивали, демонстрации, это не на профессиональной основе.

Важная часть русской культуры — театр. Ни один вид искусства не находится в такой тесной зависимости от воспринимающей его публики, как театр. И актер, и режиссер театра острее, чем их коллеги по другим видам художественного творчества, ощущают перемены в социальном, нравственном, эстетическом вкусе публики. Соответственно, сейчас стало модным критиковать, недолюбливать и не понимать зрителя, который, по мнению актеров, стал меньше любить театр и более равнодушно к нему относиться.

«Театралы» (здесь и далее — артисты и режиссеры) все ждут свою «идеальную публику», подразумевая под этим интеллигентную и культурную публику, которая заваливает их аплодисментами, внимательно слушает и анализирует увиденное. Но есть небольшая проблема... Идеальная публика должна ориентироваться, в первую очередь, на смысловые, содержательные аспекты спектакля. Проблема, собственно, в том, что русская публи-

ка так и делает. Он, русский человек, так устроен: всегда и во всем хочет дойти до самой сути, и для него она, конечно же, должна быть везде. Но, к сожалению, это не всегда так... В театральной сфере особенно.

Так кто же эти «театралы», желающие купаться в лучах славы перед «идеальной публикой», которой, по их мнению, в России нет? Благодаря каким же именам слово «современный», звучащее в контексте русского театра, стало носить отрицательный характер?

Скандалный, но рукопожатый «российский» режиссер Кирилл Серебренников продолжает удостаивать чести невысококультурную зрительскую аудиторию своей театрализованной деятельностью. Неважно, что тема обличения Советского Союза уже избита, «новаторское» воплощение ее одинаково во всех спектаклях, как и реакция русской публики.

Спектакль «Outside» К. Серебренникова можно увидеть в Берлине, во Франции, по всей Европе, но только не в России. И конечно, как это принято говорить: «Потому что наша страна не близка к высокой культуре». На подобное заявление хочется ответить только: «И слава Богу!»

Постановка Серебренникова не имеет какого-то определенного сюжета. Это дневники-мысли Кирилла периода его домашнего ареста (конечно же, незаконного). Действие построено на диалогах с китайским фотохудожником Рен Хангом, который по-

кончил с собой в возрасте 29 лет. Ханг был поэтом и снимал эротические фотографии, которые называл порнографическими. Порнография запрещена в Китае с 1949 года, поэтому сайты Ханга с фотографиями закрывали, а его самого преследовали. Это сюжет. Что же касается мизансцен, декораций и реквизита, то с этим дела обстоят туго. Видимо, режиссер действовал по принципу «высокого искусства»: выпусти на сцену голых людей, раздай слова и полтора часа упивайся своей гениальностью. Так вот, к большому «сожалению», постановку в России запретили. Но стоит отметить, что нигде не найти прискорбные комментарии и недовольную толпу, требующую демонстрации спектакля.

В надежде на полные аншлаги и восхищенные отзывы от ценителей прекрасного, Кирилл и его гениальность отправились покорять сердца латышей: «Рижская публика — мои настоящие друзья, с которыми давно знаком». Как же, ведь там просвещенный европейский зритель, не то что серая и непонимающая современного искусства публика России. Однако в Латвии «настоящие друзья» не поняли творение Серебрянникова...

Рижская журналистка Элина Чуянова покинула зал после получаса «терзаний, метаний и голой правды» [1]. Публицист поделилась своим мнением о спектакле: «Команда молодых исполнителей голышом скакала по сцене, устраивая содомитские у(ис)пражнения, читала порно-монологи и квазипоэзию. Животворящих и вербальных гениталий набралось как-то too much. Первые полчаса мы искали хоть какое-то этому оправдание, хоть какую-то мысль, но затем бросили такое занятие и покинули помещение. Подтекст там был лишь один: гнобят, со свету сживают художников-гедонистов тоталитарные режимы. Прежде всего речь о Китае, но, естественно, досталось и кремлевской «кровавой гэбне», с подачи которой за финансовые злоупотребления из средств госбюджета режиссер Серебрянников попал под следствие и стал невъездным. P.S. Все же психически больным людям надо вовремя принимать таблетки, и самое главное — не выдавать свою болезнь за высокое искусство» [там же].

Латвийский композитор Раймонд Паулс тоже

поделился своим мнением о спектакле Серебрянникова: «Как бы кто-то ни ругал СССР, мы нормально жили. Ничего проклятого сказать не могу. Жили, творили, играли, выпивали — всякое было. Но было творчество и искусство настоящее. Сейчас — искусство «разное». Вот на последнем, привезенном нам спектакле, где полтора часа по сцене бегают голые люди, латыши отсидели, но не поняли зачем» [2].

Не собираюсь углубляться в политику СССР, но могу сказать одно: не зря были в СССР худсоветы. Они процеживали репертуар, актерский состав, который должен был (мог бы) выйти на сцены театров. Пусть что-то было незаслуженно, но цензура тех времен не допускала подобное «искусство» на всеобщее обозрение.

Вот вам и «настоящие друзья». Это получается, что отрицание высшего искусства заразно? Или все-таки Кириллу не нужно выдавать свою болезнь за искусство?

Вообще «Гоголь-центр» сегодня — это уголок ненависти к нашей стране. Ой, вернее — место, где существует и «развивается» самое модное современное театральное искусство. В постановке «Маленьких трагедий» Пушкина заявлена собака, спектакль «Кому на Руси жить хорошо» — это и стендап, и хореография, и эстрадные шлягеры, и психологический театр. Ладно наказывать людей, которые не понимают твоей «великой» деятельности. Но за что так Серебрянников обошелся с классиками... непонятно.

Свой театально-режиссерский «дар» Кирилл демонстрирует и в МХТ. Да, театр давно живет по принципу «развивается человечество — должен развиваться и театр». Именно поэтому мастера школы-студии МХАТ заставляют студентов заниматься в обнаженном виде, так как это раскрепощает актера. Да, чеховцы не замечают, что развитие идет в обратном направлении. Спектакль «Зойкина квартира» Булгакова явное тому подтверждение. Конечно, как Серебрянников пропустил бы произведение о бывшем цвете нации, одержимом идеей «свалить за бугор». Но и тут режиссеру удалось «удивить» еще больше: Кирилл выступил еще и художником.

Крутящаяся коробка, в которой разворачивается все действие, костюмы, олицетворяющие нелегальный «дом свиданий», — в общем все то, что ассоциируется с современным театром.

Но постановка, от которой хочется рыдать, и поверьте, это не чувственные слезы после просмотра шедевра, — «Машина Мюллер». «Голый» в рецензиях на постановку звучит до неприличия часто. Все так: на протяжении двух часов со сцены не будут сходить восемнадцать абсолютно обнаженных актеров, к тому же еще и безмолвных, названных в программке «перформерами». «Машина Мюллер», кроме того, еще и попытка не познакомить публику с интерпретацией Пушкина, Гоголя или Достоевского (спасибо и на этом!), а продемонстрировать во всей красе послевоенную «интеллектуальную» драматургию Хайнера Мюллера на вечную тему секса и смерти. Главная роль в спектакле трехлетней давности Кирилла Серебренникова досталась Константину Богомолову.

Хуже одного современного режиссера сразу два таких...

Поблагодарить Богомолова хочется за то, что покинул стены Московского художественного театра. Но судьба, будь она неладна, привела современного режиссера в «Театр на Малой Бронной». Константин Юрьевич Богомолов — российский театральный режиссер и поэт, строками которого портить статью не собираюсь.

До того рокового момента, как Богомолов стал художественным руководителем одного из самых популярных театров России, это место занимал Сергей Голомазов, а театр считался воплощением всего того, чем славится русское классическое театральное искусство.

Премьера же «Театра на Малой Бронной» с новым худруком Константином Богомоловым, который получил новую должность в июне 2019 года, обернулась, как это уже принято у Кости, скандалом. Спектакль «Норма» по одноименному роману писателя-постмодерниста Владимира Сорокина был срежиссирован Максимом Диденко. Но публика едва не сорвала «представление», учиня провокации на протяжении всего спектакля. Впро-

чем, это было ожидаемо. Роман «Норма» — самый провокационный во всей постмодернистской литературе. В спектакле сцена, где один из героев сношает родную землю, продумана режиссером и избрана в деталях. Другие персонажи не отставали, поедая фекалии... Для чего, зачем и какой в этом, не побоюсь этого слова, смысл — неизвестно.

Стоит учитывать, что спектакль собрал любителей провокационного театра, которые в тот вечер с великим желанием превратились в консерваторов театрального искусства. В антракте зрители едва не избили Богомолова с криками «позор!». Богомолов признал свою идеальную публику «провокаторами».

Кстати, постановкой был доволен не только режиссер, но и еще один человек. Ксения Собчак написала в блоге: «Прекрасный спектакль мы посмотрели! И даже православные активисты у входа не помешали». Вот прекрасная иллюстрация фразы «каждой твари по паре».

Говорить о том, что билеты на спектакли «Театра на Малой Бронной» не раскупаются, бессмысленно, это и так очевидно. Если раньше, чтобы попасть на «Ревизора» стоило позаботиться об этом за 2 месяца, то сейчас возле касс пережати-поле.

«Волшебная гора» в Электротheaterе Станиславского. Всю первую часть богомоловского спектакля актриса кашляет в ржавом павильоне напротив сидящего молча Богомолова. А, кстати, помимо кашля, через каждые восемь минут перед первым рядом актриса читала по одному стихотворению о временах года. Стоит отметить, что даже тут Богомолов не продемонстрировал своего поэтического таланта, перенес стихи латвийских спектаклей на русскую почву. Вторая часть, конечно, «побогаче» в плане актерского мастерства и режиссерской задумки. Безэмоциональное произнесение текста публика не оценила, так как там лишь увядание и смерть.

Испортить уже испорченное — это, конечно, нужно быть профессионалом. А испортить прекрасное... в этом Богомолов превзошел все ожидания. МХТ им. Чехова (название стоит сменить, если подобные постановки будут и дальше существовать на

сцене театра) показал миру «Три сестры» Богомолова. Кто-то уже удачно обозначил премьеру словом «бормотуха». Актеры в нем натурально бормочут текст: тихо и без эмоций наговаривают нашего лучшего драматурга в навесные радиомикрофоны. Но работа Богомолова все же прослеживается — актеры сменяют интонации, но где и когда — для зрителя остается загадкой.

«Почти голая женщина подвешена к потолку и изображает распятого Господа нашего Иисуса Христа, а актер играет роль священника-гомосексуалиста и молится на нее» — так описывается одна из особенно кощунственных сцен спектакля в письме Аналитического центра святителя Василия Великого.

Но не стоит думать, что Богомолов — односторонняя личность. Есть спектакль, где режиссер отказывается от социальных и религиозных карикатур, чтобы сосредоточиться на подробностях функционирования человеческого тела. Спектакль Богомолова по мотивам романа Франсуа Рабле исследует феномен телесности. Спокойная постановка повествует в примирительной манере о путешествиях по пищеварительному тракту, по пути цитируя русскую попсу. В спектакле есть персонаж Какашка и не только. Несложно догадаться, как на все это реагируют истинные ценители театра, которых вот из-за таких постановок становится все меньше.

Хотелось бы перефразировать слова Аль Пачино: «Я бы сравнил театр с хождением по канату в ста футах над землей и безо всякой страховки. А в кино канат лежит на полу». Применительно к русским

«современным режиссерам» точнее будет сказать: «Театр — это хождение по канату, а современный театр — это отсутствие каната», потому что им перевязана голая женщина на сцене.

Данная театрализованная деятельность очень скоро прекратит свое существование просто потому, что русская публика не создана для такого «современного искусства». Русскому человеку всегда было необходимо думать, несмотря на простоту восприятия. В этом и красота... в простоте.

Но стоит выразить слова благодарности «театральной элите» нашего времени. Если бы не было их деятельности, русский народ не стал бы больше ценить истинно русский театр, куда пошлые щупальца модных режиссеров, будем надеяться, никогда не протиснутся.

Малый драматический театр с самых истоков его существования и до сегодняшнего дня демонстрирует миру то, за что боготворят русскую литературу и русский театр. «Братья Карамазовы», «Вишневый сад», «Три сестры», «Дядя Ваня» — неугасающие спектакли, за которые берет гордость. Помимо классической театральной деятельности, МДТ демонстрирует и современное (впервые в статье это слово несет положительный аспект) развитие — «Повелитель мух», «Подросток», «Шоколадный солдатик», «Враг народа» и т.д. Да, это постановки сегодняшнего дня, но в них заложен традиционный театр, такой, каким он должен быть, демонстрация великолепной театральной деятельности. О чудо! Оказывается, чтобы иметь популярность, не обязательно экономить на костюмах и желании творить. ■